

ГРАНИ

GRANI

84

1972

Postverlagsort: Frankfurt/Main, Juli 1972

А. КРАСНОВ

СТРОМАТЫ

Социально-этические этюды известного в Советском Союзе церковного писателя.

Строматы — название разноцветного, узорчатого ковра, в древности оно прилагалось к многоплановым, многотомным произведениям.

Мягкая глянцеви́тая обложка работы А. В. Русака.

Карманный формат.

Цена — 9,80 н. м. В США и Канаде — 3,50 дол.

РОМАН РЕДЛИХ

СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО

Социологический анализ советского общества со времен Сталина и до наших дней.

Превращение бывшей сталинской знати в господствующий класс современного советского общества. Проблема его устойчивости и тенденции его разложения.

Мягкая глянцеви́тая обложка работы Л. Гл. Скуратовой.

Карманный формат.

Цена — 11,80 н. м. В США и Канаде — 4 дол.

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXVII

№ 84

1972 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЙ, БОРИС СТРУГАЦКИЙ — Гадкие лебеди. Отрывок из повести 3
- Д. Л. Дверь. Рассказ 20
- Л. МЕРЦАЛОВ — Новосёлы. «Мой чёренькой, мой робкой, мой рябой...». «Наперво им поставили божка...». Отечество. Стихи 31
- В. КАЗАКОВ — Алданская трасса. Рассказ 35

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

- АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ-АГАТОВ — Арестантские встречи. Окончание 56
- ПРИЛОЖЕНИЕ: Биографии 91

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- НИКОЛАЙ ТАТИЩЕВ — Гийом Аполлинер — поэт грустного веселья 97

ПУБЛИЦИСТИКА

- Судьба русской столицы. Предисловие Б. СЕРГЕЕВА 117
- С. КРУШЕЛЬ — О положении науки в СССР 168

ФИЛОСОФИЯ

ИГУМЕН ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ) — Учение о человеке св. Григория Паламы	182
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Неймирок. «День надежды и воскресения». — Д. Руднев. Философия подполья. — С. Подгорная. Коллективный труд о Солженицыне. — О. Можайская. Повесть о древнем Пскове. — Федор Данилов. Религия и атеизм в СССР	202
Письмо в редакцию: «Хрущевские разоблачения и смерть Орджоникидзе» С. Кирсанова	223
Список книг, поступивших в редакцию	232

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,
не обязательно выражают мнение редакции.*

*Не принятые к публикации рукописи
редакцией не возвращаются.*

© 1972 Copyright by Possev-Verlag,
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

Аркадий Стругацкий

Борис Стругацкий

Гадкие лебеди

(Отрывок из повести)

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы предлагаем вниманию читателей фрагмент новой фантастической повести братьев А. и Б. Стругацких «Гадкие лебеди», которая циркулирует в Самиздате по Советскому Союзу.

Это антиутопическое произведение авторов «Улитки на склоне»* и «Сказки о тройке» (см. Грани № 78), содержащее в себе, главным образом, широко развернутый социально-идеологический элемент, адресуется также к зрелому читателю, легко улавливающему подтекст. Хотя действие повести разыгрывается в некоем тоталитарном государстве с черновыми общими чертами капиталистического строя, специфика описываемого общества разрешает все сомнения относительно того, кого именно авторы подразумевают. Главный персонаж повести — преуспевающий модный писатель Виктор Банев, показной фрондёр с оппортунистическими замашками. Попав в несерьезную опалу, он приезжает в город своего детства. Жители этого загнывающего от постоянного дождя города сильно взбудоражены таинственным влиянием на их детей, оказываемым генетически больными «мокрецами» — презируемыми и могущественными в своем интеллектуальном развитии существами из расположенного в окрестности лепрозория. Банев соглашается на

* См. Аркадий и Борис Стругацкие. Улитка на склоне. Сказка о тройке. Изд-во «Посев». Франкфурт-на-Майне, 1972.

авторскую встречу с учениками школы, в которой учится его дочь от расторгнутого брака, Ирма.

Повесть будет полностью опубликована издательством «Посев» без ведома и согласия авторов.

Глава пятая

Виктор пришел в гимназию за полчаса до назначенного времени, но Бол-Кунац уже ждал его. Впрочем, он был мальчиком тактичным, он только сообщил Виктору, что встреча состоится в актовом зале, и сейчас же ушел, сославшись на неотложные дела. Оставшись один, Виктор побрел по коридорам, заглядывая в пустые классы, вдыхая забытые ароматы чернил, мела, никогда не оседающей пыли, запахи драк «до первой крови», изнурительных допросов у доски, запахи тюрьмы, бесправия, лжи, возведенной в принцип. Он всё надеялся вызвать в памяти какие-то сладкие воспоминания о детстве и юношестве, о рыцарстве, о товариществе, о первой чистой любви, но ничего из этого не получалось, хотя он очень старался, готовый умилиться при первой возможности. Всё здесь оставалось по-прежнему — и светлые затхлые классы, и поцарапанные доски, парты, изрезанные закрашенными инициалами и апокрифическими надписями про жену и правую руку, и казематные стены, выкрашенные до половины веселой зеленой краской, и сбитая штукатурка на углах — всё оставалось по-прежнему ненавистно, гадко, наводило злобу и беспросветность.

Он нашел свой класс, хотя и не сразу; нашел свое место у окна, но парта была другая, только на подоконнике всё еще виднелась глубоко врезанная эмблема Легиона Свободы, и он живо вспомнил одуряющий энтузиазм тех времен, бело-красные повязки, жестяные копилки «в фонд Легиона», бешеные кровавые драки с красными и портреты во всех газетах, во всех учебниках, на всех стенах — лицо, которое казалось

тогда значительным и прекрасным, а теперь стало дряблым, тупым, похожим на кабанье рыло, и огромный клыкастый брызжущий рот. Такие юные, такие серые, такие одинаковые... И глупые, и этой глупости сейчас не радуешься, не радуешься, что стал умнее, а только обжигающий стыд за себя тогдашнего, серого деловитого птенца, воображавшего себя ярким, незаменимым и отборным... И еще стыднее детские вождедения, и томительный страх перед девчонкой, о которой ты уже столько нахвастался, что теперь просто невозможно отступить, а на другой день — оглушительный гнев отца и пылающие уши, и всё это называется счастливой порой: серость, вождеделение, энтузиазм...

«Плохо дело, — подумал он. — А вдруг через пятнадцать лет окажется, что и нынешний я так же сер и несвободен, как и в детстве, и даже хуже, потому что теперь я считаю себя взрослым, достаточно много знающим и достаточно пережившим, чтобы иметь основания для самодовольства и для права судить.

Скромность и только скромность, до самоуничижения... и только правда, никогда не ври, по крайней мере — самому себе, но это ужасно: самоуничижаться, когда вокруг столько идиотов, развратников, корыстных лжецов, когда даже лучшие испещрены пятнами, как прокаженные... Хочешь ты снова стать юным? Нет. А хочешь ты прожить еще пятнадцать лет? Да. Потому что жить — это хорошо. Даже когда получаешь удары. Лишь бы иметь возможность бить в ответ... Ну ладно, хватит. Остановимся на том, что настоящая жизнь есть способ существования, позволяющий наносить ответные удары. А теперь пойдём и посмотрим, какими они стали...»

В зале было довольно много ребятишек, и стоял обычный гам, который стих, когда Бол-Кунац вывел Виктора на сцену и усадил под огромным портретом президента — даром доктора Р. Квадриги — за стол, покрытый красно-белой скатертью. Потом Бол-Кунац вышел на край сцены и сказал:

— Сегодня с нами будет беседовать известный писатель Виктор Банев, уроженец нашего города. — Он повернулся к Виктору: — Как вам удобнее, господин Банев, чтобы вопросы задавали с места или в письменном виде?

— Мне всё равно, — сказал Виктор легкомысленно. — Лишь бы их было побольше.

— В таком случае, прошу вас.

Бол-Кунац спрыгнул со сцены и сел в первом ряду. Виктор почесал бровь, оглядывая зал. Их было человек пятьдесят — мальчиков и девочек в возрасте от десяти до четырнадцати лет — и они смотрели на него со спокойным ожиданием.

«Похоже, тут одни вундеркинды», — подумал он мельком. Во втором ряду он увидел Ирму и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ.

— Я учился в этой самой гимназии, — начал Виктор, — и на этой самой сцене мне довелось однажды играть Озрика. Роли я не знал, и мне пришлось сочинять ее на ходу. Это было первое, что я сочинил в своей жизни не под угрозой двойки. Говорят, что теперь стало учиться труднее, чем в мое время. Говорят, у вас появились новые предметы, и то, что мы проходили за три года, вы должны проходить за год. Но вы, наверное, не замечаете, что стало труднее. Ученые полагают, что человеческий мозг способен вместить гораздо больше сведений, нежели кажется на первый взгляд обыкновенному человеку. Надо только уметь эти сведения впихнуть...

«Ага, — подумал он, — сейчас я им расскажу про гипнопедию».

Но тут Бол-Кунац передал ему записку: «Не надо рассказывать о достижениях науки. Говорите с нами, как с равными. Валерьянс, 6 кл.».

— Так, — сказал Виктор. — Тут некий Валерьянс из шестого класса предлагает мне разговаривать с вами, как с равными, и предупреждает, чтобы я не излагал достижения науки... Должен тебе сказать, Ва-

лерьянс, что я действительно намеревался сейчас поговорить о достижениях гипнопедии. Однако я охотно откажусь от своего намерения, хотя и считаю долгом проинформировать тебя о том, что большинство равных мне взрослых имеет о гипнопедии лишь самое смутное представление.

Ему было неудобно говорить сидя, он встал и прошелся по сцене.

— Должен вам признаться, ребята, что я не любитель встречаться с читателями. Как правило, совершенно невозможно понять, с каким читателем имеешь дело, что ему от тебя надо и что его, собственно, интересует. Поэтому я стараюсь каждое свое выступление превращать в вечер вопросов и ответов. Иногда получается довольно забавно. Давайте начну спрашивать я. Итак... Все ли читали мои произведения?

— Да, — отозвались детские голоса. — Читали... Все...

— Прекрасно, — сказал Виктор озадаченно. — Польщен, хотя и удивлен. Ну ладно, далее... Желает ли собрание, чтобы я рассказал историю написания какого-нибудь своего романа?

Последовало недолгое молчание, затем в середине зала воздвигся худой прыщавый мальчик, сказал: «Нет» — и сел.

— Прекрасно, — сказал Виктор. — Это тем более хорошо, что, вопреки широко распространенному мнению, ничего интересного в историях написания не бывает. Пойдемте дальше... Желают ли уважаемые слушатели узнать о моих творческих планах?

Бол-Кунац поднялся и вежливо сказал:

— Видите ли, господин Банев, вопросы, непосредственно связанные с техникой вашего творчества, лучше было бы обсудить в самом конце беседы, когда прояснится общая картина.

Он сел. Виктор сунул руки в карманы и снова прошелся по сцене. Становилось интересно или, во всяком случае, необычно.

— А может быть, вас интересуют литературные анекдоты? — вкрадчиво спросил он. — Как я охотился с Хемингуэем. Как Эренбург подарил мне русский самовар. Или что мне сказал Зурзмансор, когда мы встретились с ним в трамвае...

— Вы действительно встречались с Зурзмансором? — спросили в зале.

— Нет, я шучу, — сказал Виктор. — Так что насчет литературных анекдотов?

— Можно вопрос? — сказал, воздвигаясь, прыщавый мальчик.

— Да, конечно.

— Какими бы вы хотели видеть нас в будущем?

«Без прыщей», — мелькнуло в голове у Виктора, но он отогнал эту мысль, потому что понял: становится жарко. Вопрос был сильный. «Хотел бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне, каким я хочу видеть себя в настоящем», — подумал он. Однако надо было отвечать.

— Умными, — сказал он наугад. — Честными. Добрыми... Хотел бы, чтобы вы любили свою работу... и работали бы только на благо людей. («Несу, — подумал он. — Да и как не нести?»). Вот примерно так...

Зал тихонько зашумел, потом кто-то спросил, не вставая:

— Вы действительно считаете, что солдат главнее физика?

— Я?! — возмутился Виктор.

— Так я понял из вашей повести «Беда приходит ночью».

Это был белобрысый клоп десяти лет от роду. Виктор крикнул. «Беда» могла быть плохой книгой и могла быть хорошей книгой, но она ни при каких обстоятельствах не была детской книгой. Она до такой степени не была детской книгой, что в ней не разобрался ни один из критиков: все сочли ее порнографическим чтивом, подрывающим мораль и национальное самосознание. И что самое ужасное, — белобрысый клоп имел основания полагать, что автор «Беды» считает солдата

«главнее» физика — во всяком случае, в некоторых отношениях.

— Дело в том, — сказал Виктор проникновенно, — что... как бы тебе сказать... Всякое бывает.

— Я вовсе не имею в виду физиологию, — возразил белобрысый клоп. — Я говорю об общей концепции книги. Может быть, «главнее» — не то слово...

— Я тоже не имею в виду физиологию, — сказал Виктор. — Я хочу сказать, что бывают ситуации, когда уровень знаний не имеет значения.

Бол-Кунац принял из зала и передал ему две записки: «Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?» и «Что такое умный человек?». Виктор начал со второго вопроса — он был проще.

— Умный человек, — сказал он, — это тот человек, который сознает несовершенство, незаконченность своих знаний, стремится их пополнять и в этом преуспевает... Вы со мной согласны?

— Нет, — сказала, приподнявшись, хорошенькая девочка.

— А в чем дело?

— Ваше определение не функционально. Любой дурак, пользуясь этим определением, может полагать себя умным. Особенно, если окружающие поддерживают его в этом мнении.

«Да... — подумал Виктор. Его охватила легкая паника. — Это тебе не с братьями-писателями разговаривать».

— В какой-то степени вы правы, — сказал он, неожиданно для себя переходя на «вы». — Но дело в том, что вообще-то «дурак», «умный» — понятия исторические и скорее субъективные.

— Значит, вы сами не беретесь отличить дурака от умного? — Это из задних рядов — смуглое существо с прекрасными библейскими глазами, стриженное наголо.

— Отчего же, — сказал Виктор. — Берусь. Но я не уверен, что вы всегда со мной согласитесь. Есть старый афоризм: дурак — это просто инакомыслящий... — Обычно это присловье вызывало у слушателей смех, но сейчас зал молча ждал продолжения. — Или инакочувствующий, — добавил Виктор.

Он остро ощущал разочарование зала, но он не знал, что еще сказать. Контакта не получалось. Как правило, аудитория легко переходит на позиции выступающего, соглашается с его суждениями, и всем становится ясно, кто такие дураки, причем подразумевается, что здесь, в этом зале, дураков нет. В худшем случае аудитория не соглашалась и настраивалась враждебно, но и тогда бывало легко, потому что оставалась возможность язвить и высмеивать, а одному спорить с многими не трудно, так как противники всегда противоречат друг другу и среди них всегда найдется самый шумный и самый глупый, на котором можно плясать ко всеобщему удовлетворению.

— Я не совсем понимаю, — произнесла хорошенькая девочка. — Вы хотите, чтобы мы были умными, то есть, согласно вашему же афоризму, мыслили и чувствовали так же, как вы. Но я прочла все ваши книги и нашла в них только отрицание. Никакой позитивной программы. С другой стороны, вам хотелось бы, чтобы мы работали на благо людей. То есть фактически на благо тех грязных и неприятных типов, которыми наполнены ваши книги. А ведь вы отражаете действительность, правда?

Виктору показалось, что он нащупал, наконец, дно под ногами.

— Видите ли, — сказал он, — под работой на благо людей я как раз понимаю превращение людей в чистых и приятных. И это мое пожелание не имеет никакого отношения к моему творчеству. В книгах я пытаюсь изобразить всё, как оно есть, я не пытаюсь учить или показывать, что нужно делать. В лучшем случае я показываю объект приложения сил, обращаю внима-

ние на то, с чем нужно бороться. Я не знаю, как изменять людей, — если бы я знал, я был бы не модным писателем, а великим педагогом или знаменитым психосоциологом. Художественной литературе вообще противопоказано поучать и вести, предлагать конкретные пути и создавать конкретную методологию. Это можно видеть на примере крупнейших писателей. Я преклоняюсь перед Львом Толстым, но только до тех пор, пока он является своеобразным, уникальным по отражательному таланту зеркалом действительности. А как только он начинает учить меня ходить босиком и подставлять щеку, меня охватывает жалость и тоска... Писатель — это прибор, показывающий состояние общества, и лишь в ничтожной степени — орудие для изменения общества. История показывает, что общество изменяют не литературой, а реформами и пулеметами, а сейчас еще и наукой. Литература в лучшем случае показывает, в кого надо стрелять или что нуждается в изменении...

Он сделал паузу, вспомнив о том, что есть еще Достоевский и Фолкнер. Но пока он придумывал, как бы вернуть насчет роли литературы в изучении подноготной индивидуума, из зала сообщили:

— Простите, но всё это довольно тривиально. Дело в том, что изображаемые вами объекты совсем не хотят, чтобы их изменяли. И потом они настолько неприятны, настолько запущены, так безнадежны, что их не хочется изменять. Понимаете, они не стоят этого. Пусть уж себе догнивают — они ведь не играют никакой роли. На благо кого же мы должны, по-вашему, работать?

— Ах вот вы о чем! — медленно сказал Виктор.

До него вдруг дошло: Боже мой, да ведь эти сопляки всерьез полагают, будто я пишу только о подонках, что я всех считаю подонками, но они же ничего не поняли, да и откуда им понять, это же дети, странные дети, болезненно умные дети, но всего лишь де-

ти, с детским жизненным опытом и с детским знанием людей плюс куча прочитанных книг, с детским идеализмом и с детским стремлением разложить всё по полочкам с табличками «плохо» и «хорошо». Совершенно, как братья-литераторы...

— Меня обмануло, что вы говорите, как взрослые, — сказал он. — Я даже забыл, что вы — не взрослые. Я понимаю, это не педагогично так говорить, но говорить это приходится, иначе мы никогда не выпутаемся. Всё дело в том, что вы, по-видимому, не понимаете, как небритый, истеричный, вечно пьяный мужчина может быть замечательным человеком, которого нельзя не любить, перед которым преклоняешься, полагаешь за честь пожать его руку, потому что он прошел через такой ад, что и подумать страшно, а человеком всё-таки остался. Всех героев моих книг вы считаете нечистыми подонками, но это еще полбеды. Вы считаете, будто и я отношусь к ним так же, как вы. Вот это уже беда. Беда в том смысле, что так мы никогда не поймем друг друга...

Чёрт его знает, какой реакции он ожидал на свою благодушную отповедь. То ли они начнут смущенно переглядываться, или лица их озарятся пониманием, или некий вздох облегчения пронесется по залу в знак того, что недоразумение благополучно разъяснилось и теперь можно всё начинать сначала, на новой, более реалистической основе... Во всяком случае, ничего этого не произошло. В задних рядах снова встал мальчик с библейскими глазами и спросил:

— Вы не могли бы нам сказать, что такое прогресс?

Виктор почувствовал себя оскорбленным. «Ну конечно, — подумал он. — А потом они спросят, может ли машина мыслить и есть ли жизнь на Марсе. Всё возвращается на круги своя».

— Прогресс, — сказал он, — это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга.

— А чем же они занимаются? — спросил толстый мальчик справа.

— Выпивают и закусывают квантум сатис*, — пробормотал кто-то слева.

— А почему бы и нет? — сказал Виктор. — История человечества знает не так уж много эпох, когда люди могли выпивать и закусывать квантум сатис. Для меня прогресс — это движение к состоянию, когда не топчут и не убивают. А чем они там будут заниматься — это, на мой взгляд, не так уж существенно. Если угодно, для меня прежде всего важны необходимые условия прогресса, а достаточные условия — дело наживное...

— Разрешите мне, — сказал Бол-Кунац. — Давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается в тех же темпах, что и сейчас. Тогда через несколько десятков лет подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов и из сферы обслуживания за ненадобностью. Будет очень хорошо: все сыты, топтать друг друга не к чему, никто друг другу не мешает... и никто никому не нужен. Есть, конечно, несколько сотен тысяч человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание машин новых, но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо?

— Не знаю, — сказал Виктор. — Вообще-то это не совсем хорошо. Это как-то обидно... Но должен вам сказать, что это всё-таки лучше, чем то, что мы видим сейчас. Так что определенный прогресс всё-таки налицо.

— А вы сами хотели бы жить в таком мире?

Виктор подумал.

— Знаете, — сказал он, — я его как-то плохо себе

* сколько нужно. — Ред.

представляю, но если говорить честно, то было бы недурно попробовать.

— А вы можете представить себе человека, которому жить в таком мире категорически не хочется?

— Конечно, могу. Есть люди, и я таких знаю, которые там бы заскучали. Власть там не нужна, командовать нечем, топтать незачем. Правда, они вряд ли откажутся — всё-таки это редчайшая возможность превратить рай в свинарник... или в казарму. Они бы этот мир с удовольствием разрушили... Так что, пожалуй, не могу.

— А ваших героев, которых вы так любите, устроило бы такое будущее?

— Да, конечно. Они обрели бы там заслуженный покой.

Бол-Кунац сел, зато встал прыщавый юнец и, горестно кивая, сказал:

— Вот в этом всё дело. Не в том дело, понимаем мы реальную жизнь или нет, а в том дело, что для вас и ваших героев такое будущее вполне приемлемо, а для нас это — могильник. Конец надежд. Конец человечества. Тупик. Вот потому-то мы и говорим, что не хочется тратить силы, чтобы работать на благо ваших жаждущих покоя и по уши перепачканных типов. Вдохнуть в них энергию для настоящей жизни уже невозможно. И как вы там хотите, господин Банев, но вы показали нам в своих книгах — в интересных книгах, я полностью «за» — показали нам не объект приложения сил, а показали нам, что объектов для приложения сил в человечестве нет, по крайней мере — в вашем поколении... Вы сожрали себя, — простите, пожалуйста, — вы себя растратили на международные драки, на вранье и на борьбу с враньем, которую вы ведете, придумывая новое вранье... Как это у вас поется: «Правда и ложь, вы не так уж несхожи, вчерашняя правда становится ложью, вчерашняя ложь превращается завтра в чистейшую правду, в привычную прав-

ду...». Вот так вы и мотаетесь от вранья к вранью. Вы просто никак не можете поверить, что вы уже мертвецы, что вы своими руками создали мир, который стал для вас надгробным памятником. Вы гнили в окопах, вы взрывались под танками, а кому от этого стало лучше? Вы ругали правительство и порядки, как будто вы не знаете, что лучшего правительства и лучших порядков ваше поколение... да попросту недостойно. Вас били по физиономии, простите, пожалуйста, а вы упорно долбили, что человек по природе добр... или, того хуже, что человек — это звучит гордо. И кого вы только не называли человеком!..

Прыщавый оратор махнул рукой и сел. Воцарилось молчание. Затем он снова встал и сообщил:

— Когда я говорил «вы», я не имел в виду персонально вас, господин Банев.

— Благодарю вас, — сердито сказал Виктор.

Он ощущал раздражение: этот прыщавый сопляк не имел права говорить так безапелляционно, это наглость и дерзость... дать по затылку и вывести за ухо из комнаты. Он ощущал неловкость — многое из сказанного было правдой, и он сам думал так же, а теперь попал в положение человека, вынужденного защищать то, что он ненавидит. Он ощущал растерянность — непонятно было, как вести себя дальше, как продолжать разговор и стоит ли вообще продолжать... Он оглядел зал и увидел, что его ответа ждут, что Ирма ждет его ответа, что все эти розовощекие и конопатые чудовища думают одинаково, и прыщавый наглец только высказал общее мнение, и высказал его искренне, с глубоким убеждением, а не потому что прочел вчера запрещенную брошюру, что они действительно не испытывают ни малейшего чувства благодарности или хотя бы элементарного уважения к нему, Баневу, за то, что он пошел добровольцем в гусары и ходил на «рейн-металлы» в конном строю, и едва не подох от дизентерии в окружении, и резал часовых самодельным но-

жом, а потом, уже на гражданке, дал по морде спецуполномоченному, предложившему ему подписать донос, и шлялся без работы с дырой в легких, и спекулировал фруктами, хотя ему предлагали очень выгодные должности... А почему, собственно, они должны уважать меня за всё это? Что я ходил на танки с саблей наголо? Так ведь надо быть идиотом, чтобы иметь правительство, которое довело армию до такого положения... Тут он содрогнулся, представив себе, какую огромную мыслительную работу должны были проделывать эти птенцы, чтобы совершенно самостоятельно прийти к выводам, к которым взрослые приходят, ободрав с себя всю шкуру, обратив душу в развалины, исковеркав свою жизнь и множество соседних жизней... да и то не все, а только некоторые, а большинство и до сих пор считает, что всё было правильно и очень здорово, и если понадобится — готовы начать всё сначала... Неужели всё-таки настали новые времена? Он глядел в зал почти со страхом. Кажется, будущему удалось всё-таки запустить щупальцы в самое сердце настоящего, и это будущее было холодным, безжалостным, ему было наплевать на все заслуги прошлого — истинные или мнимые.

— Ребята, — сказал Виктор. — Вы, наверное, этого не замечаете, но вы жестоки. Вы жестоки из самых лучших побуждений, но жестокость — это всегда жестокость. И ничего она не может принести, кроме нового горя, новых слез и новых подлостей. Вот что вы имейте в виду. И не воображайте, что вы говорите что-то особенно новое. Разрушить старый мир и на его костях построить новый — это старая идея. И ни разу пока она еще не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает особенное желание беспощадно разрушать, особенно легко приспособляется к процессу разрушения, к жестокости, к беспощадности, становится необходимым в этом процессе и непременно сохраняется, становится хозяином в новом

мире и в конечном счете убивает смелых разрушителей. Ворон ворону глаз не выклюет, жестокостью жестокость не уничтожишь. Ирония и жалость, ребята! Ирония и жалость!

Вдруг весь зал поднялся. Это было совершенно неожиданно, и у Виктора мелькнула сумасшедшая мысль, что ему удалось, наконец, сказать нечто такое, что поразило воображение слушателей. Но он уже видел, как от дверей идет мокрец, тощий, легкий, почти нематериальный, словно тень, и дети смотрят на него, и не просто смотрят, а тянутся к нему, а он сдержанно поклонился Виктору, пробормотал извинения и сел с краю, рядом с Ирмой, и все дети тоже сели, а Виктор смотрел на Ирму и видел, что она счастлива, что она старается не показать этого, но удовольствие и радость так и брызжут из нее. И прежде чем он успел опомниться, заговорил Бол-Кунац.

— Боюсь, вы не так нас поняли, господин Банев, — сказал он. — Мы совсем не жестоки, а если и жестоки с вашей точки зрения, то лишь теоретически. Ведь мы вовсе не собираемся разрушать ваш старый мир. Мы собираемся построить новый. Вот вы — жестоки: вы не представляете себе строительство нового без разрушения старого. А мы представляем себе это очень хорошо. Мы даже поможем вашему поколению создать этот ваш рай, выпивайте и закусывайте на здоровье. Строить, господин Банев, только строить. Ничего не разрушать, только строить.

Виктор наконец оторвал взгляд от Ирмы и собрался с мыслями.

— Да, — сказал он. — Конечно. Валяйте, стройте. Я целиком с вами. Вы меня ошеломили сегодня, но я всё равно с вами... а может быть, именно поэтому с вами. Если понадобится, я даже откажусь от выпивки и закуски... Не забывайте только, что старые миры приходилось разрушать именно потому, что они мешали... мешали строить новое, не любили новое, давили его...

— Нынешний старый мир, — загадочно сказал Бол-Кунац, — нам мешать не станет. Он будет даже помогать. Прежняя история прекратила течение свое, не надо на нее ссылаться.

— Что ж, тем лучше, — сказал Виктор устало. — Очень рад, что у вас так удачно всё складывается...

«Славные мальчики и девочки, — подумал он. — Странные, но славные. Жалко их, вот что... подрастут, полезут друг на друга, размножатся, и начнется работа за хлеб насущный... Нет, — подумал он с отчаянием, — может быть, и обойдется. Они же совсем не такие, как мы. Может быть, и обойдется...»

Он сгреб со стола записки. Их накопилось довольно много: «Что такое факт?», «Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?», «Почему вы так много пьете?», «Ваше мнение о Шпенглере»...

— Тут у меня несколько вопросов, — сказал он. — Не знаю, стоит ли теперь...

Прыщавый нигилист поднялся и сказал:

— Видите ли, господин Банев, я не знаю, что там за вопросы, дело-то в том, что это, в общем, не важно. Мы ведь просто хотели познакомиться с современным известным писателем. Каждый известный писатель выражает идеологию общества или части общества, а нам нужно знать идеологов современного общества. Теперь мы знаем больше, чем знали до встречи с вами. Спасибо.

В зале зашевелились, загомонили: «Спасибо... Спасибо, господин Банев...», стали подниматься, выбирать-ся со своих мест, а Виктор стоял, стиснув в кулаке записки, и чувствовал себя болваном, и знал, что красен, что вид имеет растерянный и жалкий, но он взял себя в руки, сунул записки в карман и спустился со сцены.

Самым трудным было то, что он так и не понял, как следует относиться к этим детям. Они были ирреальны, они были невозможны, их высказывания, их

отношение к тому, что он писал, и к тому, что он говорил, не имело никаких точек соприкосновения с торчащими косичками, взлохмаченными вихрами, с плохо отмытыми шеями, с цыпками на худых руках, с писклявым шумом, который стоял вокруг. Словно какая-то сила, забавляясь, совместила в пространстве детский сад и диспут в научной лаборатории. Совместила несовместимое. Наверное, именно так чувствовала себя та подопытная кошка, которой дали кусочек рыбки, почесали за ухом и в тот же момент ударили электрическим током, взорвали под носом пороховой заряд и ослепили прожектором...

«Да, — сочувственно сказал Виктор кошке, состояние которой он представил себе сейчас очень хорошо. — Наша с тобой психика к таким шокам не приспособлена, мы с тобой от таких шоков и помереть можем...»

Тут он обнаружил, что завяз. Его обступили и не давали пройти. На мгновение его охватил панический ужас. Он бы не удивился, если бы его сейчас молча и деловито повалили и принялись вскрывать на предмет исследования идеологии... Но они не хотели его вскрывать. Они протягивали ему раскрытые книжки, дешевые блокнотики, листки бумаги. Они лепетали: «Автограф, пожалуйста!» Они пищали: «Вот здесь, пожалуйста!» Они сипели ломающимися голосами: «Будьте добры, господин Банев!»

И он достал авторучку и принялся свинчивать колпачок, с интересом постороннего прислушиваясь к своим ощущениям, и он не удивился, ощутив гордость. Это были призраки будущего, и пользоваться у них известностью было всё-таки приятно.

Дверь

Рассказ

Стала забывать бабка Маша маловажное, мелкое, но в хозяйстве необходимое: кашку пшеничную посолить, лука ли в суп из солонины бросить. Ведь и в повседневных делах присутствует остатний интерес, а незадолго, дня за три до того, как надеть старику Дормидонтову лыжи и уйти за лесной гребень — дальше, к городу Семушину и почте, за пенсией и хлебом, неинтересно было бабке Маше всё.

Проскрипел снег под лыжами, ушел Дормидонтов на почту, бабка не сказала вслед обычное: не пей, мол, вина, старик Дормидонтов, лучше домой принеси, выпьешь, старухе своей рюмочку нальешь, посидим в красном углу, покалякаем, как жили-были — полюдски.

Прилегла на лежанку сразу же, будто оступилась, дрема странная одолевала; а надо бы еды приготовить, как повелось, с шестка уголь холодный убрать, плиту почистить. Чаю сварить, не кофию — Дормидонтов кофий любит, из города с заработков поветрие принес: вот, дескать, не пробовали. Всё пробовали, пробовали, а потом народец разъезжаться стал.

Дело-то, может, и не в кофие, а в часовне: был попик, славный батюшка. Бабка помнила: молодой приехал, помор по корням — не пришлый целиком, с приметами, как северный люд мечен: лицом не больно светл, коряват, глаз голубой — наш. Из семинарии приехал, попадью на острове приобрел. До конца ничейного времени служил, церковь порывался выстроить — каменную, мужиков уговаривал и бумаги слал. Перед последней войной приехали сани-самоход, с ящиком на лыжах,

Рассказ Д. Л. «Дверь» получен из России, где распространяется Самиздатом. См. первый его рассказ — «Крест» — в «Гранях» № 83. — Ред.

посадили батюшку с попадьей-детками в ящик — и сгинули.

Тепло вчерашнее, дорогое зимой и на исходе ее, когда старое тело слабеет и старается пережить май, чтобы выкроить еще годик жизни, порадоваться восходу и тишине, птицам — летящим дальше, на северные голокаменные острова, — тепло это, поднимающееся сквозь изразцы лежанки, безразлично было бабке Маше.

Новая для нее скука и утомительность жизни недолго — трехдневку — были загадкой; многовиденное за прошедшие года — их столько миновало уже, что лет пять или семь назад заезжавший участковый, — испуганный лукавый мужик, городской, — долго интересовался возрастом и что сказать, если не знает милиция, переметившая всех в округе и крае, — опыт, копимый для единственного случая, для этого дня, сказал бабке, что она умирает; если не сегодня, так завтра. Наверное, осмотровительнее бы не пускать старика Дормидонтова на почту.

Исповедаться и причаститься, славно бы... не читать же отходную самой...

Батюшка молодой был, а битый мужик, с деревенскими толковал, и умел. О мирском говорил, но защитник Бога справный; о церкви каменной думал, как построить, — зимой теплая, местным на радость и окрестным, и не горела бы: часовня — четвертая на бабкином веку, прежние громом поразило. Грешили много, а как разошлись все — грешить некому, стоит.

Душно бабке, воды бы, да дойти ли до колодца, не дойти, за порог бы — ковшик снега набрать, растопить.

Плечом печь обтирая, подвинулась к двери, до угла, затем три шага в пустоте, без опоры... открывать придется... крепка, тес хороший на дверь вышел... щеколда же за Дормидонтовым задвинута: ветрило с утра, ветер не открыл бы, выдует тепло вчерашнее... от себя наддать, дернуть... заедает щеколда.

Глядя на темный и гладкий засов, поняла, что не просто напиться сегодня, жар сбить... а теперь и не жарко — мерзли, не гнулись пальцы, в пуховых же чулках, декабрьской обновке, костенели ноги.

Бабка Маша не успевала к лежанке: села на толстый чурбан у печи, встав на который взлезал Дормидонтов в теплую сухую нору из овчины и ветоши.

Тяжелая спина тянула назад — к оббитому кирпичному углу, — тело наливалось иным веществом, не несущим себя, безвольным и тяжким душе. Сердце заканчивало долгий труд, утомляясь давно — старой малочистой кровью, бедной жизнью и алым.

Пальцы мелко дрожали, меркла смуглая кожа — твердели жилы в воск:

сердце стало.

По дороге на Курган-остров, если идти со стороны Семушина, городка небольшого, но главного в округе, есть место болотистое и печальное. Ольхи и осины пьют с давних пор ржавую воду, и погибают, обпившись.

Зимою снег прикрывает тяжелое место. Сохраняется в рисунке крон неестественность; глаз ищет причину смутного беспокойства души, приглядывается к болезненному кустарнику и деревьям: сучья толсты чересчур, лишённые тонких прошлогодних побегов, мшисты... догадываешься: мертвый лес.

В сильный мороз тишина не нарушима ничем, не лопаются древесные слои: стволы сухи здесь, пусты, не наполнены остановившимся соком.

Здесь проходил зимою раз в месяц старик Дормидонтов: в Семушин, за пенсией-невеличкой, тратимой скупно на хлеб и крупу, с легкостью — на зелье.

Месяц, бывший полупрозрачным в свете январского солнца, твердел и наливался серебром; дело шло к ночи. Заалело уже легкое перо облачка, висящее над западным горизонтом. Северный вечер дарил зрению —

цвет: фиолетовый на востоке, перетекавший в синий, а этот — в лазурь, столь нежную, что грустно было: парила над головой недостижимая далекая радость.

На краю мертвого леса старик Дормидонтов сошел с лыж и сел отдохнуть на кучу хвороста, собранную и позабытую кем-то. Пройти оставалось ему три версты; он, досадуя, попенял себе: в Семушине выпил стакан вина, обедая, идти труднее обычного. Опыт отступил перед склонностью, дыхание не было легким.

Он оглядывал местность и вспоминал, что тут, на краю болота, стоял хутор, сгинувший после войны с хозяином и семьей его. В то время деревня на Курган-острове носила имя, забытое ныне даже географами; теперь остались двое жителей, он и старуха, сестра, много старшая его, тихо доживавшая век. Умрет и она, боялся старик Дормидонтов, он останется на острове один: страшно.

Незаметно склонилась к упадку жизнь земли и деревень, пусто в округе, повымерли, не успевшие умереть растворились в городах.

Пора было идти, но отдохнуть не получилось — ступал с той же усталостью в ногах и теле.

Быстро пришли сумерки.

Старик почувствовал, а потом увидел: черное пятно, поболее собаки, двигалось по краю поля. Обрадованно догадался: сани; подтверждая, донесся полозий скрип, фыркание трудящейся лошади. Подвезут до острова: через него путь на Косую губу, где — домов десять.

Сани летели к окраине мертвого леса. Плавным изгибом путь шел от подножия сопки к замерзшему болоту.

Неясный гам, заслоненный деревянным шуршаньем по насту, превращался в удалую песню, проявлялись слова:

— Гей — го — гооо...

Сверху на поклаже лежал человек; в руке у него

был светлый предмет: Дормидонтов признал бутылку. Пел же возникший:

— Гей — гооо...

Голос проезжих не мог населить пространства чажоточных кустов и мертвых сучьев.

Дормидонтов по стеклянному звону определил цель встреченных: везли провиант из Семушина в сельпо Косгубы.

— Гей — гооо!..

Конь медлил бежать, возникший натягивал вожжи.

— Здравствуй, Дормидонтов! — кричал лежавший на ящиках, в полушубке, обваленном сеном; в сиреневых сумерках лицо его было темным, на свету бы — красным от выпитого вина.

— Вася?

— Ну. Тормози, Ян.

Оба спрыгнули в снег, размяться; земля враждебно встретила слабые ноги: споткнулся Василий, пробежал — перевешивала тяжелая голова.

— Черт. Тьфу. — Качался Василий, будто стрелка весов.

— Ехать-то лучше.

— Покурим.

— Да и то... — начал возникший Ян. — Недобрано еще... трое нас, а? Дормидонтов!

— Вы через Курган едете?

— Как же иначе.

— Грузу много... если б довезли до острова...

— Ну. Иль напоить и волку оставить?

Звенело стекло о кружки со щербатой эмалью. В ящике Ян выломал дощечку — топориком, им же отрезал колбасный кусок, не снимая обертки.

Конь всхрапывал, подбирал клочья сена; с утра гнедой, а сейчас перед ночью — белесый, в инее замерзшего пота.

В молчании, нарушаемом только: — Будем здоровы, — закусывали, и Дормидонтов помог вечернему

обществу троих: из мешка вынул хлеба — серого; обозначен он был в преискуранте — «черно-белый»; в ноздрях, не печеный — извергнутый вулканом пище-торга.

В сущности пить не нужно было уже — после второй кружки, но пили, совершали древнюю ошибку пьяниц: опьянение не увеличивалось, надеются же всегда: вот, хорошо, пусть же — еще лучше станет.

На краю мертвого леса, где летом висит клубами мошкa над озерцами гадкой воды, пировали трое: Дормидонтов, старик с Курган-острова, картофельный долгожитель, начавший сохнуть в кости и плоти, проживший жизнь, ни разу не обеспокоенный хотением, выходившим из заповедного круга отцов и Севера; рядом сидел выше всех, на ящиках, — Вася, весельчак и браконьер, и Ян-моторист, пришлый на Косую губу из Сибири, литовец, никогда не выдававший Литвы; мечтал о ней долго, так долго, что и ехать не надо.

Василий ругал начальство; было привычно Яну и Дормидонтову слушать о недостатках и даже пороках начальников — Косогубского совхоза, Семушинского ли. Потом Вася шутил над Мариной и Яном, над связью их, смеялся гулко: Ян немногословен, Марина болтушка, как же они?.. Дормидонтов подсмеивался, но не слушал почти; заведено: если речь о бабе и мужике, то смеяться чуть — смехом отталкивая от себя что-то, и признавая смехом — этого чего-то не чужд.

Конь фыркнул, помотал головой, железные части упряжи прозвенели. Сани были уютны: почти дом. Пир замолкал. Василий на полслове всхрипнул; Ян отер ладонями иней, наросший на ресницы коня; в ладонях согрел мундштук и взнуздal неохотную лошадь: зубы хрустели железом.

Вася опрокинулся на спину: на ящики, выронив недопитую бутылку — всеильная жидкость потеряла цену. Лежал он, будто любясь небом, но — спал.

Старик устроился сзади, держась предусмотрительно за веревку, — обвязан был ею товар.

Двинулись шагом; сухие деревья корявыми пальцами там, тут протыкали пространство, грозили в голубоватую даль снежного поля, мимо кустов, казавшихся в сумерках плоскими веерами.

Дормидонтов взглянул вверх. Лунный серп летел вперед, не отставая, — чувство рождалось отъединенности от лунного бега; надвигавшаяся масса елового бора беспокоила, а знал его житель острова так, что видел мысленно просеки, тропы.

Снег на озере, согнанный в волны, колыхал сани, — словно в лодке плыли они. Старика тяготил избыток спиртного напитка, слабость и дрема пропитывали мышцы, и думал он: не заснуть бы... Ветерок покалывал скулы, — будто касались их острой гранью металла.

Ян полуспал, и лошадь шла шагом, глубоко проваливая копыта: наст не держал.

Чувство долгоживущего на одном месте разбудило старика: рядом ночлег, где постель и тепло. Слышались собаки и говор — доносились из прошлого Курган-острова, когда деревня носила имя: из прошлого, ныне — сна наяву Дормидонтова.

Он не будил возничего и Ваську, решив, что лошадь — старая, на исходе — найдет дорогу на Косую, где конюшня и отдых, вернее их. Старик слез в снег, надел ощупью лыжи, и пока надевал и прилаживал, сонный скрип гложнул в великом крае льда и моруза.

Он пошел мимо часовни, старой, мшистой, где крест безруко цеплялся за гниющий верх маковки; давно не заходили в нее — тогда еще не все вымерли и разбежались: разверили и охладели; привычные к старому кресту-защитнику, нового не узнали — не было.

За часовней же, по правую руку, на склоне дальнего края острова, на подступе к березовой рощице и

воде, стоял дом: за деревом спрятанный уголок тепла; ледяной ветер обтекает свободно круглые стволы стен. В первый попавшийся дом не зайти: крест-накрест забиты окна, обвалилось крыльцо, сорвана крыша, защищавшая два этажа, сорвана людьми и ветром, торчали черные пальцы слег: словно великан провалился в труху разрушенной жизни.

Помнил старик: жил здесь Мигунов, сгинувший давно и безвестно с женой и детьми: вдруг, будто вымело. Была здесь и причина, забытая, но похожая на круг прочих причин, следствие которых одно — разрушение. А дальше дом кума: попал в кулаки, не вернулся. Эти уехали в голод. Тут — Аркаша, крепкий охотник, браконьер, утонул, должно быть, по пьянству.

Уехавшие забили досками окна, надеясь: поправят дела и вернуться. Знак, что хозяева есть, держится долго, пока однажды не увидел Дормидонтов: в кумовом доме наколоченный крест выпал с рамою вместе.

Не вернулся никто.

Он всё шел, присаживаясь; устал, замерзли колени и руки (удивился: сколько же выпил?); согреться ходьбою не мог. Поругал смутно себя: знал же, если пить на морозе — шубу надень, томись, зато упадешь на устроенное метелью снежное ложе — не замерзнешь. Надел же телогрейку с утра, для лыжного хода.

Путь не кончался. Половина его отмечена была коробкою на столбе, железною, ржавой, с провалившимся верхом и дном. Дормидонтов был пожилым еще мужчиной, когда ящичек был — почтовым. В неделю раз приезжал почтальон; потом приезжал реже. Месяца два почтальон не находил в ящичке писем: писали деревенские пятнадцать лет, списывались о приезде; списались — писем не стало, у баркаса же с почты сломался мотор.

Было легко — под гору; Дормидонтов задел лыжей валун, припорошенный снегом; упал, досадуя на мороз, встреченных с Косой губы, на глупость: выпить

столько, ум растерять, словно мало жил-пил в малолюдье!

Пора бы мелькнуть свету в окне; упав, черпнул валенками, раструбами рукавиц — снега: колол он и жёг кожу.

Маяка в окне ждал старый лыжник и долгожитель Курган-острова. Второе тепло обволакивало плечи и кисти рук; это тепло, беспричинное, пугающее — будто кусочек льда положили на сердце; в идущего по холоду человека вторгалось злое.

Безмолвная, чернела изба Дормидонтова — дальше пустая длилась поверхность; черный дом его — перед ним. Пьяно подумал, не ушла ли старуха, не уехала ли — в город, чтобы он остался один; будто запустение рассчитано кем-то, предуказано. Как зубы у Дормидонтова, выпадали из деревни люди; первое понимал: старость, о втором же догадывался — так умирает деревня. Ведь не стало имени у нее, редки стали люди, помнившие имя... как же... как же... вспоминал старый лыжник: казалось ему, что идет по тропинке к дверям; не шел, а сидел на снегу перед крыльцом, вспоминая: два ряда домов, часовня и трубы, и по утрам из труб — добрые дымы в розовом рассвете... и всё это вместе называлось...

Нужное трудно вспомнить, и не просто нужное: имя-заклинание; день же этот свелся к тому, что имя становилось ключом: запереть дверь, не впустить... и не выпустить.

Не вспомнив, заметил: долго идет, увидел вокруг снег; поднялся, шагнул — глубоко провалился: мимо тропы шагнул, упал грудью на снег; вмиг замерло сердце, испугавшись; дальше — полз, потеряв рукавицы и шапку; близки были ступени, поднимался долго коленями; ступеньки, не обметенные утром, скользили, а потом цеплялся за перила крыльца, тянулся к дверной ручке: дергал и досадовал на старуху — спит.

— Маша... — хрипел Дормидонтов. Бил кулаком. Глухо гудели доски — крепки, тогда не пилили, тесали.

— Маша... — словно в вату говорил старик. — Оглохла, бесовка... мужика заморозишь...

Лет пятнадцать назад сосед вышел бы, Володя, ровесник, сказал бы: бес с ней, Дормидонтов, спит глухая тетеря, идем-ка, места на печи хватит. Теперь не выйдет, на погосте Володя, не услышит ровесник и приятель; спустя время имя деревня терять стала... ведь простое... как же... Не вспомнить — не открыть... или костер развести, до утра...

... Жарко в избе, на лавке у печи; лампада подсвечивает чуть серебро окладное. Натопила старуха, жарко: ей, старой, кости греть, лучше похолоднее бы, чуть...

Пошел к порогу Дормидонтов, минуты не высидел, дернул дверную скобку: Володя перед ним стоит, сосед и ровесник, родились оба в Троицын день. Удивился не ему Дормидонтов: с полчаса как пришел из Семушина, а уж утро, облачки-перышки позолотой нежной сияют, снег засветился. Часовня — темно-сиреневая, теплая; славный день, предвесенний.

— В гости зашел бы, Дормидонтов, — улыбаясь, говорит Володя; удалый плотник, широкий грудью, в шапке одноухой.

— Да как зайти. Умер ты, Володя, — говорит Дормидонтов, а сам смеется: как же умер, когда перед ним — сосед, первый плотник в округе и приятель.

Они по деревне пошли. Солнце вот-вот заблещет, и дымы белые к небу прямо стоят, ни ветерка. Проснулись деревенские, скрипы и стуки на дворах, домашние, — дров наколоть, корм скотине задать.

— До весны дожить — на Рождество пить, а, Володя?

— Живу здесь, Дормидонтов, вот как, — говорит Володя и смеется.

Они до погоста дошли, к часовне; Володя — за оградку и словно крышку отворил в земле; и странное дело: снег лежал сугробом — сугробом отвесно висит, не сыпается. Володя спускается вниз, как по лестнице; по плечи спустился и на Дормидонтова глаза поднял:

— Приходи в гости, сосед, есть о чем покалякать. Топни вот здесь три раза... открою...

И нет его, ровесника Володи. А спросить забыл что-то Дормидонтов, что же?.. Память — решето, и забыл о чем забытом спросить. Часовня. Дома. Дымы розовыми столбиками. Белое — во все стороны. Имя всему этому — как? Вот что забыл.

— Володя!

Топнул. Еще топнул. Поднять ногу — в третий раз топнуть, до приятеля дотопаться, о деревне спросить; как чужая нога, тяжелая, будто льда намерзло на ней в миг — пол-озера, хоть не топай, но не спросить — точно родина, что ли, безымянна, а он — родства не помнящий? Ну, мертвая, ну! Так!

И провалился в тьму.

*Декабрь 1965
Воркута*

НОВОСЁЛЫ

Что, глупая!
Давно ли ты хрипела,
Трехвековой обидой распалясь, —
Решаясь на усобицу и грязь,
От мужества и счастья песни пела...

Давно ль тебя на бойню повели,
Чугунной цепью ноги перебили,
Твой хрип твоими ж песнями глушили
Про новосёлов будущей земли...

Еще тебя не всю вогнали в гроб,
И песенникам авторские платят.
Лишь новосёлы с песнями не ладят —
Ничто не в радость нам,
Ничто не впрок...

Периклова нас слава не коснулась,
Мы — хитрые шуты и маклаки.
Родимая затейливая дурость
Пьет горькую с неведомой тоски.

Но где-то в сверстниках созрела сила
И, тихо огрызаясь на пинки,
Безжалостным сияньем осветила
Лихих времен глухие тупики.

...Когда ж, как не сейчас,
Не здесь, не нам бы
От сухости душевной оживать,
Придумывать целительные ямбы,

Огни на тихих дамбах
Зажигать...

...Когда ж, как не сейчас —
Из всех отдушин
Пить подлинность зазеленевших гряд,
Молчаньем их вылечивая души,
Оглохшие от лжи и полуправд...

1958

* * *

Мой чёренькой, мой робкой, мой рябой,
Не ходи, не лайся с ими,
Дорожися сам собой.

По собраньям не бранися,
Не толкись, не заседай,
Лучь поди нашей корове
Сенца в ясли покидай.

Мой чёренькой, мой робкой, мой баской,
Вот увидишь, тебя посодют,
Я остануся с тоской...

1961

* * *

Наперво им поставили божка.
Шпионили у них исподтишка.
...Уж так просты,
Уж так они просты —
Епишкин лоб, Микишкина башка...

Не бедность, так игра-а-али бы в козла...
Копают и доносят — не со зла...
Да им-то что, простягам, что опять
Кого-то колымага увезла?

«Свои мы — не лукавые — свои!
Свои мы — обосрался и стои!
Бей, только сам!
Хошь, землю буду есть?
Хошь, выдам всех?
Ну, видишь ты, свои...»

Ужель напрасно убивались мы?
Ужель еще не расплевались мы —
Не подуванили между своих
Отечества обильные назьмы?

...Своих шпионов, своего божка! —
И от души, а не исподтишка,
По-нашински...
Да здравствуют они —
Епишкин лоб, Микишкина башка!

1963

ОТЕЧЕСТВО

Нас очень много.
Жизнь нам только снится.
Мы на особом, кажется, счету.
Промерили столбами
Всю границу,
Лишь внутренние земли — на лету.

Что за страна ты! —
Каждый третий — кореш.
Конечно, где их к чёрту разберешь,
Но ты ж от доброты всегда позволишь
Жить в одиночестве,
Среди зеленых рощ...

Просторно нашей бедности и лени,
И лучший путь наш —
Тот, что без нужды, —
Ведет из пустоватых поселений
В пустые Елисейские сады.

Кой в чем просты,
Но в главном нелюдимы,
Мы прячемся,
Копя невнятный стыд,
Что где-то гинет век,
Еще судимый,
Еще живой,
От схватки не остыв...

Отечество,
Свои умерь ты зовы!
Так страшно — сонным
Взглядывать во тьму...
Скотам Господним
Тягостны резоны,
А язвы в сердце —
Вовсе ни к чему.

1967

Алданская трасса

Рассказ

Истоки Индигирки дики. По единственной дороге, какую проложили в Хандогу на Алдане, движения нет. Редко пройдет лесоводка или крытая машина в совхоз на Хандогу за овощами и вновь наступит тишина. Глушь. Безлюдье.

Еще кое-где по дороге стоят рассыпающиеся в прах жуткие бараки — остатки прорабств, строивших трассу. В них теперь никто не живет. Они смотрят провалами окон на пустынную дорогу, на тяжелые громады хребта, а вокруг расстилается тайга, над ней вздымаются волнами горы, и чем дальше, тем прозрачней и воздушнее их очертания.

Но и тайга живет по-своему. Короткое лето греется она в тепле и свете. В зеленых просторах гнутся дугами ленты ручьев и речек. В прозрачных водах гуляют стаи хариуса, а в глубоких омутах, где вода играет в кружало, в подмытых корнях тополя роется жирный налим.

По островам меж протоков в зарослях смородины бродит черный косматый медведь. Насытившись ягодами, идет под вечер к берегу напиться. Тяжело ворочаясь, лакает, стоит подолгу: смотрит на пожар заката за дальними лесами, вслушивается, как шумит вода на перекате, да шевельнет хвоей пришедшее дыхание ветра. Из темной чащи слетит на отмель глухарка. С выводком. Красиво выгнув шею, гуляет по цветному гравию, приучает малышей заглатывать камешки.

В поймах больших рек медленно тают наледи, высвобождая придавленные ими галечники. У наледей лес отходит, точно не выносит их холода. В жаркие дни

сюда прибегает гонимый мошкаррой сохатый. В прохладе у льда он успокаивается и, вздрагивая телом, щиплет мох, траву.

Но короткое жаркое лето скоро проходит, и забелеет мох-ягель на склонах, осыпаются желтые иголки с лиственниц, мелеют речки, а по ним спешат укрыться вниз в глубокие озера и протоки тучные косяки хариуса. На горы чаще находят тучи, и в неожиданный день они исчезают, обнажая вдруг поседевшие за одну ночь вершины. Тучи спускаются вниз в долины, и забушуют метели — на землю ложится покров снега. Но реки продолжают стремительный бег, их воды в белых берегах отливают холодной сталью, но скоро и они застывают, только на перекатах шумят потоки. Здесь, в узких заводах, спасаются отставшие от перелетных стай гуси, утки. Им надо бы спешить на юг, но леденящая стужа приковала их к последнему убежищу, и они гибнут от подобранных лисы и горноста.

С морозами дни становятся короткими. Медленно приходит рассвет, медленно встает в морозном накале багровое солнце. Неяркие лучи скользят по белым сопкам гор, по дымящимся наледям долин. Там из талого грунта бьют наружу ключи, и разлившаяся вода стынет в облаках пара. Косматые туманы висят над наледями, опадая в окрестных лесах инеем. Тускло светят снега, призраками кажутся заиндедевские леса, а за ними в сероватой мгле миражами встают горные вершины и пропадают там, где мутное небо слилось с занемогшей от стужи землей.

Иногда днем над хребтом повиснет луна, такая же багровая, как солнце. Уйдет солнце, она пожелтеет и плывет вверх по небосклону, а с ней плывет и ночь. Над горами дрожат холодные звезды, льется пересветом северное сияние. И ни птицы, ни зверя в этом холодном безмолвье, и сама трасса затерялась в безбрежной белой пустыне.

Не скоро приходит весна, а придет, и тайга напол-

няется светом. Облитые солнцем сверкают снегами долины. Небо прозрачно, воздушно легко, а упирающиеся в него снежными гранями вершины подобны кристаллам. Недвижимый воздух стоит в тишине над тайгой. Пролетит ворон над лесом, каркнет надсадно, — и эхо гуляет в окрестных ущельях.

Проходят дни, недели, солнце всё выше взбирается по ступеням неба, но его тепла не хватает согреть оцепеневшую от стужи землю. Когда же в оплавленном снегу пробьются первые ручьи, тайга сбрасывает зимнюю дремоту, зевает во всю пасть пропалями ущелий, где, шурша снегом, в пене и брызгах мчатся потоки. Синееют разливы вод, синееет небо, а в вышине его идут на север крылатые караваны птиц.

В это время на трассу, что серой гадюкой ползет по горным кряжам, выходит, озираясь, человек. Бредет он на запад, где вечерами садится солнце, где маячат вершины неведомых гор. И кто знает, может, он и дойдет до «большой земли», а может, ляжет от пули стрелка, и, падая на холодную землю, он и тогда не пожалеет, что ушел от безрадостной участи, уготовленной ему на земле.

Дорогу на Индигирку прозвали трассой беглецов. Сюда бегут из рудников, из приисков, где грохочут экскаваторы и на бледном небе выступают сторожевые вышки лагерей. Бегут смелые, решившие уйти хоть на край света, подальше от гиблых мест, где их ждет беспросветная жизнь или конец с безвестной могилой в мерзлой земле каменистого склона.

Нас было двое в машине, направлявшейся в дальний рейс на Алдан. Через приспущенные стекла в кабину врвался встречный ветер, шевелил прядь волос, выбившуюся из-под шапки водителя, и уносил наружу нагретый воздух с запахом бензина, машинного масла. Навстречу бежало полотно дороги с лужами талой воды,

а по сторонам толпились горы, к ним уходили ущелья, по которым мчались, сверкая на солнце, весенние воды. Машина шла неровно, раскачиваясь на ухабах, а то и буксовала, окутавшись сизым дымом. Тогда мы выскакивали наружу, шофер хватался за лопату, а я подтаскивал из придорожного кустарника хворост и жерди.

— Это ж разве дорога, — говорил шофер, выбирая жидкую грязь из-под задних колес.

— А как дальше она будет? — спросил я.

— Такая, а то и хуже. Колдобины еще ничего, а вот ширина бывает: встретится машина — не разъехаться. Выскочат водители и кроют площадно один другого, кому сдавать до разъезда.

— А ты на ней не раз бывал?

— Бывал. Только как попадешь на нее, так сам не рад: одни горы да леса, и ни живой души: будто проклято это место.

Шофер бросил лопату в кузов, шагнул, размахивая руками, к кабине. Машина, взыв мотором, выбралась из грязи. За рулем шофер успокаивался, доставал одной рукой папиросу, раскручивал ее промасленными пальцами и прикуривал от поднесенной мною спички.

— До Барагоны доедем сегодня? — спросил я.

— Сегодня не доехать. Да в ней одни якуты живут. По мне лучше у дороги передохнуть.

— Где тогда остановимся?

— Сойдем с перевала в Индигирку, там и заночуем. Нам бы эту самую Аян-петлю проскочить, — и он указал кивком головы на открывшиеся впереди нагромождения холмистых гряд, изрезанных распадками.

Но Аян-петля оказалась такой петлей, из которой мы выбрались нескоро. Дорога точно плела кружево, взбираясь на перевал. Бесконечно тянулись холмистые морены в долинах, выпаханных древними ледниками, над ними подымались зубчатые гребни унылых безжизненных скал. Дорога стала как будто тверже, и шофер, наверстывая время, гнал машину вовсю. Крутые

подъемы и спуски, висевшие над крутизной, не сдерживали его и на поворотах он только крепче сжимал руль, но скорости не сбавлял. Я напомнил ему об осторожности.

— Теперь не опасно, грунт голый — сдержит. Вот когда снег лежит, тут не зевай, не включи нужную скорость — пойдешь юзом под откос.

— Но всё ж на обрывах...

Он мельком взглянул на меня, процедил сквозь зубы:

— Обрывов тут не счесть, на каждый приглядываться, так заночуем на перевале, а на нем ни воды, ни дров.

Только к вечеру стали спускаться вниз. Узкая долина с пятнами снега на склонах расширялась, чахлая лиственница становилась стройнее, выше, а там и развернулась во всю ширь Индигирка, оцетинившаяся лесами. Шофер, уставший от езды, присматривался, где остановиться. Когда сбоку сквозь редкие деревья засветлело что-то белое, он съехал на болотистый луг. Мы вышли из кабины и разминались ходьбой по мягкому насту прошлогодних трав. Огромная ледяная равнина уходила далеко к другому борту долины. Над ней кружились стаи гусей и с громкими криками садились на лёд. Лесной ручей, сбегавший к наледи, разлился у края до размеров озера. Там копошилась дичь, отыскивая корм. По другую сторону разлива стоял покосившийся барак, в его застекленное окошко бил луч уходящего за гору солнца.

— Живет кто-то, — сказал я.

— Якут, наверно, на охоту вышел. Тут вон сколько дичи.

Как бы в подтверждение его слов в дальнем конце разлива прогремели один за другим два выстрела. Кверху взмыла утиная стая, и вновь взметнулись два синих дымка и покатались выстрелы.

— Вот садит дуплетом, — сказал восхищенно шо-

фер. — Мне б ружьецо, да не дают зека... А вон лебеди, — и он показал на ближний лес, над которым выплыли две белые птицы и потянули над берегом.

— Пошли на охотника, — сказал шофер, следя за полетом птиц, приближавшихся к тому месту, откуда до этого раздавались выстрелы; но теперь они не последовали.

— Чего ж он... Бей же, бей, — и шофер в нетерпении прошелся. — Уходят, шляпа...

А лебеди, развернувшись, снова прошли над разливом, и их отражения проплыли белыми челнами в зеркале вод, и долго розовело их оперенье, пока они не растаяли в прозрачном вечернем воздухе.

— Какую дичь упустил. Пороху не хватило, что ли, — сожалел шофер, смотря в ту сторону, где исчезли лебеди.

— Лебедей не стреляют. Запрещено, — заметил я.

— Кто ж дознается. Тут тайга, — сказал он беспечно.

Мы развели огонь, повесили чайник. Когда он закипел, шофер, приняв от меня пачку чаю, разорвал ее и высыпал всю без остатка, и тут же снял чайник, поставил на землю.

— Пусть настоится.

Я не стал ждать, пока он настоится, и отлил себе в кружку начавший быстро темнеть кипяток.

— Не уважаете крепкого. А по мне он лучше спиртного. В рейс едешь на тыщу километров, другой раз так и клонит соснуть. Летом приткнешься у дороги и пересишь, а зимой не станешь. Так чай выручает. Выпьешь его, и откуда силы взялись, только поспевай баранку крутить. Вот теперь в самый раз, — сказал шофер и налил себе в жестяную банку чай, черный как деготь. От сахара он отказался, а вытащил из кармана завернутые в газету мелкие селедки с проступившей на чешуе солью. Ими и закусывал, чтоб, как он говорил, изнутри проняло.

Медленно сгущались сумерки. Белая равнина наледи стала серой и сливалась вдалеке с неясной полосой подступившего к ней леса. Угомонились гуси на наледи, прекратила разлеты дичь, только блеял в вышине запоздавший бекас, да на террасе истошно хохотала куропатка. Рядом в луже возились кулики, но и они, застигнутые сумерками, стихая засыпали, стоя на одной ножке. К ним подсели два чирка и зашелушили проворными клювами, отыскивая корм. Невдалеке свистнула шилохвость и сорвалась с громким хлопаньем крыльев. Бесшумно снялись чирки, оставив в луже мелкую зыбь. Их потревожил плеск воды под шагами. Через разлив, в котором высыпали вечерние звезды, по мелководью брел в нашу сторону охотник.

— Настрелялся, идет теперь соску просить. Якут как встретит русского, то вместо «здравствуй» «соску» просит. За спирт в мороз доху снимет и отдаст, — сказал шофер.

Но подошедший к нам оказался не якутом. Это был рослый человек в оленьей шапке и в болотных сапогах. У него было два ружья: одно за плечом, другое в руках. Поздоровался осторожно и остановился несколько в отдалении.

— А мы думали — якут, а вон кто: нашенский — тульский или рязанский, — заговорил шофер, оглядывая подошедшего.

— Могли у меня стать, топчаны есть, — предложил охотник.

— Клопов там, наверное...

— Клопы, те есть...

— Так мы на воле лучше передохнем. Подходи. Кружка есть, чаю нальем.

Охотник сбросил на землю тяжелую связку дичи, положил на нее стволами ружья.

— Ты прямо богач, с двумя ружьями, — заметил шофер.

— Не мои, казенные, — ответил охотник, доставая из мешка жестяную кружку. Он снял шапку и придвинулся к огню, показав темное от загара лицо, заросшее до самых скул бородой.

— А для чего тебе два ружья? — спросил шофер, наливая ему из чайника.

— С двумя верней: с одного я, видишь, бью по сидячим на воде, а с другого — как подымутся — влёт.

— Чего ж тебя в такую даль занесло, как будто только тут и охота.

— Не занесло, а поставлен сюда обходчиком дороги. По лицу шофера пробежала насмешка.

— Как ты ее на шесть сотен километров обойдешь. Ее как провели, так с тех пор и не ремонтируют.

Охотник пошевелил широкими бровями, кашлянул в кружку.

— Не брешу. Обходчиком я здесь. А то верно: охочусь да рыбалю. Живность в управление — начальству доставляю.

— Так это другой коленкор. Темнишь, значит... — попробовал съязвить шофер.

— Я-то исполняю свое дело справно. А насчет темноты скажу: до свежей живности каждый тянется, а как оно по штатам охотника не положено, то и поставили меня в обходчики, чтоб по форме всё как есть было. Кто ж темнит: я или кто другой?

— Да ты не обижайся, темнят теперь все, — и шофер протянул примирительно папиросу. Охотник спрятал ее в боковой карман телогрейки и, вынув кожаный кисет с махоркой, завернул сигарку. Шофер потянулся к связке дичи, разбирая ее руками.

— Настрелял ты порядком, нам бы продал пару на ужин.

— Бери так, какие приглянулись, — сказал охотник и, заметив, что шофер завозился, встал сам.

— Да тех не бери, перья у них только раскрашены, а нутро рыбой отдаёт, — и отвязал двух бурых уток.

Их разделали, осмолили. Шофер выгреб кучу углей, а охотник, нанизав уток на срубленную жердь тальника, навесил их над жаром и стал медленно вращать жердь. На угли закапал жир, сгорая синими вспышками.

— А давно ж ты тут? — спросил шофер охотника.

— С той весны.

— В весну я проезжал, а никого в бараке не было.

— Поначалу я в брошенной юрте жил, а к лету сюда перебрался.

— Вольный теперь или зека?

— Высвободился.

— Где ж отбывал?

— На прииске Желанном.

— Про такой не слыхал. Разные есть прииски. Пятилетка, Штурмовой, Бериин... а такого не знаю. Ну и придумали — Желанный. Кому ж он желанный? — шофер фыркнул насмешливо и заскреб в затылке так, что шапка съехала ему на переносицу. Он ее поправил, завертел головой, продолжая ухмыляться.

— Ключ звался так, а как в нем золото нашли, то и прииск прозвали тем ключом, — пояснил веско охотник.

— Название выдумать можно. Есть такой прииск — Светланой зовется, а я там за пять лет, какие пробыл, женской руки не видел.

— Прииск-то известно что, — согласился охотник. — Желанный тоже место, верно, хуже не найти. Щель в горе. Летом солнце кругом ходит, а туда не достает. Так тень со дна и не сходит. Зимой лед на дровнях возят вместо воды... А уж про работу, так лучше и не говорить...

— Вольняшкой стал и опять в трущобе очутился. Будь я на твоём месте, давно б махнул на «материк».

— Не к кому мне идти. Баба померла, было двое сыновей, да и те на войне сгибли.

— Тогда дело у тебя незавидное, — сочувственно сказал шофер. — Но и тут не лучше.

— А где лучше? Тут я сам по себе, и никто над тобой не стоит.

— Смотри — от людей отвыкнешь.

— К тому привыкнуть можно. Да и их вижу. Водители ко мне заезжают. Якут тут живет на озере, иной раз бывает. В единоличниках до сей поры ходит...

— Единоличник? Как же он уцелел? — спросил я.

— Не с кем его как бы соединить. На сто верст никого нет.

— Один так и живет?

— Не один. Сыновья женатые — с внуками целый кагал набирается. Держит коров, оленей...

— И не тревожат его?

— Тревожат, как не тревожат. Комиссия раз в год наезжает скот учитывать для налога. Выйдет он, трубку сосет, кажет им пару коров да десяток оленей, а остальные у него по тайге бродят. Может, с сотню наберется.

— Кого? — не понял шофер.

— Да оленей. И коров хватает. Коровы, правда, одно название: вымя с кулачок, а молока дает не больше козы.

— Но всё ж скота сколько... Кулак, выходит, — сказал шофер.

— Да как ты его ни зови, а он сам себе на уме. И живет... А недавно сюда наезжал. Забеспокоился, видишь... прослышал где-то промеж своих, будто в этих краях прииск открыть собираются. Спрашивал меня, а я откуда знаю. Говорил: будет прииск, — уйдет на Улахан-Чистай.

— Это ведь голое место, там и леса нет, — сказал я.

— А ему леса и не надо. Был бы ягель оленям, да трава коровам.

— Почему же он прииска боится?

— Прииск — дело государственное: народу нагонят, а они этого не любят. У них и в колхозе по-другому, не так, как, скажем, у нас. Выстроили им правление, ба-

ню, дома и те есть: живи же вместе, а они нет — забился каждый в свой распадок и не вытянуть их оттуда. Испокон веков так живут. — Охотник достал нож из чехла, пристегнутого к поясу, повертел его в руках, что-то обдумывая, потом поднял на меня глаза, спросил:

— Вы всё ж там ближе к начальству, так, может, знаете: будет тут прииск или нет?

— Скорее на Улахан-Чистае откроют, — сказал я.

— То ладно. Передам, так обрадуется, — сказал он как будто довольный и, пробуя острием ножа зарумянившихся уток, добавил:

— Как раз готовы. Можно и снимать.

Пока мы занялись жареным, охотник допивал чай.

В бледном свете северной ночи голубела наледь, за ней темнели лесистые уступы долины, а дальше по краю лилового неба, в широкой заре, перемещавшейся к востоку, едва обозначалась далекая горная цепь.

Стояла чуткая тишина. Чуть слышно бормотал лесной ручей, возилась в песке, тихо побрякивая, ненасытившаяся утка, спросонья попискивала уснувшая дичь. Но вот издалека донесся протяжный звук и снова повторился. Шофер, оставив еду, настороженно вслушивался.

— Кричит кто-то, — сказал он.

— Гусь летает, — ответил охотник.

Звук приблизился, нарастая в своей силе. Кричала птица, как будто звала или искала своих. Ее крик обрывался, то вновь летел безответно в пустоту ночи. Одно время мелькнула тень в сумерках, потом тень пропала, но призывный крик птицы, полный безысходной тоски, еще долго звучал над холодной безмолвной равниной

— Всё кричит. Спугнул кто? — спросил шофер.

— Отбился от стаи. Своих ищет, да разве найдешь.

— К чужим, может, пристанет.

— Чужие не примут. Раз отбился, считай пропал.

Лиса таких сразу прибирает.

— Сколько вот езжу по трассе, а лисиц не видал.

— Они-то по дороге не бегают, а выдь утречком на болото и увидишь: уже крадется, шельма, высматривает... И сидит такой отбившийся на кочке и ровно никого не примечает. Близко подойдешь, а он хоть бы что. Гукнешь: мол, лети, не то худо тебе будет. Он и снимется, а там пролетит шагов двести и снова падает.

— Чего ж ты не стреляешь?

— Да как стрелять в него. Жалко...

— Уток вон сколько наколотил, а такую дичину жалко, — удивился шофер.

— Утку ты не равняй: ее умеючи взять нужно. А тут сидит такой, голову к земле приклонил. Видно, чуёт: не сдобровать одному. Как на него рука подыметься?

— А утки твои хороши, — похвалил шофер, вытирая о клочок бумаги сальные и не особенно чистые руки.

Утки в самом деле были хороши, и я присоединил такое же мнение.

— В весну еще худоваты, а осенью как они жиром к отлёту прорастают, так совсем хороши. А кости брось в кусты, бурундук подберет, — повернулся охотник к шоферу.

Шофер зашвырнул кости, посмотрел на зарю, заметно сдвинувшуюся к востоку, сказал:

— Видно, спать не придется. Вторачек изготовим.

Он поднес охапку дров и бросил небрежно в костер, как будто бросая ее под колеса буксовавшей машины. На нас посыпалась метель искр.

— Эк ворочаешь, одежду пожжешь, — стряхивал охотник с телогрейки упавшие искры.

Кулики, заночевавшие в соседней луже, потревоженные треском и ярким светом вспыхнувшего валежника, всполошились и подняли пронзительный писк. Один кулик взлетел, мелькнула в косом полете его белая грудка. Сделав стремительный зигзаг, он, сложив

крылья и выбросив ножки, опять упал в свою лужу. Всё семейство отметило это тоже писком, но более громким, торжественным.

— Вы там, компания, чего взбудоражились, — повернувшись в их сторону, сказал охотник.

Кулики успокаивались.

— Ишь, понимают, — сказал шофер и, взяв чайник и размахивая им, направился к луже, но его окликнул охотник:

— Не туда иди. Вон же есть озерко, с него и наберешь.

— А что? — остановился шофер.

— Опять же их попугаешь. Пусть себе спят. И у них делов на завтра хватит.

— Чудишь, — ухмыльнулся шофер, но повернул в другую сторону.

Он принес воды и, вешая чайник над огнем, спросил:

— Как дорога за переправой? Не слыхал?

— Не слыхал.

— А машины оттуда хоть были?

— Проходила одна два дня назад.

— Подсохло, значит. А то там такое месиво, что и не выберешься. Я там один раз припухал... Еле встречная машина на канате выволокла. А тут еще постов понагнажи. Теперь хоть охраны нет, глаза не мозолит...

— К теплу нагонят охрану. За этим дело не станет, — сказал охотник.

— А зачем охрану присылают? — спросил я.

— Непокойная та дорога.

— Непокойная? — переспросил я.

— Тревожно бывает. Беглецы к лету с перевала сходят. Тут ведь одна трасса на Алдан, а оттуда до железной дороги добраться можно.

— Много беглецов бывает?

— Про то не знаю.

— И ловят их?

— Может, и ловят, — ответил он уже неохотно и, подперев голову ладонью, стал задумчиво смотреть на огонь. Мои вопросы насторожили его. Недоверие к постороннему было понятным. Хотелось услышать о людях, бежавших в тайгу. Стал подумывать, как возобновить расклеившийся разговор. Но тут выручил шофер. Он едко заговорил об охране, которая, по-видимому, ему не раз досаждала.

— Да где этой охране поймать беглеца, они сами их боятся. Иные ведь с оружием, вон как каторжные. Тем терять нечего, попробуй такого взять. Охрана все больше по дороге шастает, в скрытых постах выжидает, когда беглец на дорогу выйдет.

— А беглецы и на трассу выходят? Опасно ведь, — сказал я.

— Голод заставит, а то и лес так насточертеет и потянет его на дорогу, где все же чем-то людским пахнет.

— Нападения бывают?

— Смотря на кого. Кто без груза едет, или груз непродуктовый, того не тронут. Они больше интересуются машинами, какие идут с Алдана с продуктами. Моего знакомого — вёз муку — остановили, мешки уволокли, приехал на базу порожняком.

— С мешками как же они могли уйти?

— А вот ушли. Подъехала, конечно, охрана. Сунулась туда-сюда, нашла кое-где муку рассыпанную, да и всё. А там за Барагонной Индигирка вся в протоках. Те, видно, на плот мешки сгрузили, да и забрались в какую-нибудь протоку, и не достать их оттуда. Это всё одно, что иголку искать в стоге сена. Тут и не такие дела бывали, — шофер выхватил из костра дымящуюся головню, прикурил и, чувствуя к себе внимание, продолжил:

— Вон прошлым летом пропал десятник с сенокоса. Стали искать, — нашли след на болоте, и то след к трясине вывел и пропал. Ну и посчитали: затянуло

его в тряси́ну. А потом дознались: беглецы увели десятника.

— Как увели? И потом зачем? — усомнился я.

— Силой уводят, а для чего, так если сказать, никто не поверит. Голод-то что не сделает. Голодный на всё идет, такого обходи подальше, — сказал шофер как-то таинственно.

— Не так это было, — заговорил вдруг охотник.

— А как же? — спросил шофер, недовольный тем, что его перебили.

— Десятник сам ушел с беглецами.

— Чего ж ему бежать. Десятник всё ж...

— Кто его знает, чужая душа — потёмки. Но, видно, не с хорошей жизни ушел.

— Ясно, не с хорошей, — спохватился шофер. — Но всё же как он ушел?

— А пригнало сюда управление работяг на сенокос. Прораб и десятник при них. И вот десятник — из заключенных он был — возьми да и исчезни. Пошел прораб на пост в охрану, а ему говорят: «Сам ищи. У нас своих дел хватает». Вернулся он обратно, а его уже ждут: десятник и еще трое с ним с винтовкой. И к нему с ножами. Забрали карабин, палатку, завяючили продукты на двух лошадей. Расписку на всё дали, а один прорабу сказал: «Под нас тебе всё спишут». И ушли. Прораб вновь на пост. Послали охрану. С неделю выискивали по речкам. След то по одному берегу, то по другому идет, потом к воде обрывается. Видно, у беглецов умная голова была. Пошли б они напрямик, может, их и нагнали, а так они запутали след по речкам. Охрана разбилась на части, чтоб легче было перехватить. И как-то наткнулась на них. Солдаты с собакой набрали на свежий след. Только до кустов, — а оттуда по ним стрельба. Собака так и свернулась на месте, у одного фуражку сбили с головы. Солдаты постреляли по кустам, а идти дальше не решаются, потому не безопасно на таких стрелков лезть.

Послали за подмогой. Пока весь отряд собрали, да пришел он к месту, тех давно след простыл. Нашли палатку, беглецы впопыхах бросили. Прошли еще до озер, видели будто тряпки на камнях и рваные ботинки. И порешили, что обувь у них развалилась, а без нее как пойдешь. А прораб мне говорил, что забрали у него пять пар ботинок, и охрана выдумала историю для начальства, чтоб посчитать тех как без вести пропавших.

— Туфту подсунули. Везде темнят, — не удержался ввернуть шофер.

— А почему охрана не пошла дальше? — спросил я.

— Куда там. У озер такая чаща начинается, вышли полк и то не найдут.

— Ушли-таки беглецы?

Охотник помедлил с ответом, как бы взвешивая его, посмотрел в сумеречную даль, промолвил:

— Они-то ушли, а вот куда дошли, про то только тайга скажет.

— Пригнали в такой край, что и не выбраться, — сказал шофер мрачно.

— Может, кто и доходит, который дни считает и идет, не оглядывается. А другой закружится на месте, как тот гусь, какой от стаи отбился, а тут снег выпал, зима на носу. Куда податься: в тайге — гибель, в лагерь обратно — не лучше. Так и пропадает.

— Есть и такие? — спросил я.

— Есть. Вот этим летом был случай и запомнился ж он мне. — Тут охотник принял кружку чаю от шофера, всыпал в нее из кулька сахара и, помешивая сломанной веткой, рассказывал дальше.

— Я как перебрался в этот барак к лету, то заехал ко мне как-то водитель переночевать и заговорил: не безопасно, мол, по трассе ехать — бежали каторжники с Кадыкчана. Разбили конвой и идут с оружием по тайге. Самолет стал летать, выискивал, наверно, не

покажется где дым, ан как самолет ушел, охраны понаехало. Наведался ихний командир сюда, стал спрашивать, не видел ли кого, не встречал ли следов. Нет, говорю, не встречал и следов не видел. «Так слушай, — говорит он мне. — Бежала банда из Кадыкчана. Ты по речкам ходишь, заметишь что, нам знать дай». Узнал, что якуты на той стороне скот пасли, послал и туда своих людей. Но якут — это такой народ, от него мало добьешься. Всё больше молчит, а то скажет «не знаю» или «моя жена не знает». Плонули охранники и вернулись обратно.

— Много ушло беглецов? — спросил я.

— Видно, много, если столько охраны нагнали.

— Где же они были?

— Этого не скажешь. Может, в протоках прятались, иль с перевала сходили. Поглядишь днем — то на перевале покажется дымок, то в долине по-над дорогой задымится: охрана шашки палила, показывала, где кто стоит и куда направляется. Но это, пожалуй, и беглецам на руку было: видели, где охрана бродит. И вот тут заявляются якуты и говорят: «покажем, где беглецы».

— Белены, косоглазые, объелись, — громко сказал шофер.

— А тут, видишь, так вышло. Увели беглецы у них тёлку и оленей, а тёлка была частная, оттого они и взбеленились. А от якута не уйдешь. Он тебе на траву, какая примята, глянет и скажет: кто и когда проходил. И повели охрану, да вскоре нагнали беглецов. Окружили их возле наледи — не у этой, а другая есть, пониже. На открытом месте, пожалуй, всех бы их положили, а как там чаща непролазная, то много их вырвалось. Из охраны тоже кой-кого поранило, да одного убили. Пальбу на дороге было слышать. Раненых, и солдат и беглецов, каких подобрали, вывели на дорогу — в машине увезли. Стали преследовать какие убежали, но тут якуты уперлись и идти дальше не

хотят. Оленей своих нашли, только тёлку беглецы съели.

Командир на них кричать, а они ему говорят: «Корову одну съел, а людей сколько убил. Разве корова стоит того?» Велел он тогда их забрать и водил с собой по тайге. Но кого палкой гонят, с того проку мало. Походили с неделю и вернулись на трассу. Опосля якуты жаловались, что командир грозил им пистолетом, а одного ударил...

— Вышло что-либо из жалобы? — спросил я.

— Да вроде указали тому свыше на превышение власти.

— Нашли где жаловаться, тут и советской власти нет, — проговорил шофер.

— А те, что вырвались из окружения, что с ними было? — спросил я.

— Те ушли дальше, да один отставший позднее обнаружился.

— Чего ж он остался? Ему б вперед да вперед, — сказал шофер.

— То-то и оно, что вперед. Это мы с тобой так рассуждаем. А у него, может, голова замутилась, иначе как понять. К тому же и продукт, видно, кончился.

— Рассказывай дале, как он обнаружился, — попросил шофер.

— В осень ставил я морды в протоках и стал замечать, будто кто-то их трогает: то колья сдвинуты, то поворот у морды другой. Якута однажды повстречал и он мне говорил, что подле бродит кто-то: человек или шайтан. Корову у него подоил, и спортилась после того корова. Молока не стала давать. А как снег выпал, пошел я по речке гоголей стрелять. Проходил так до полдня, а охоты нет. Дай, думаю, дойду до переправы, — недалеко до нее оставалось, — может, какая машина-попутка будет, чтоб не ворочаться до дому пешком. А на переправе пост стоит круглый год. Как вышел на открытое место, пост показался, и

вижу — солдат издали машет рукой. Подошел. Ихний старшина стоит подле и спрашивает, в какой стороне был. Я и показал. Он к окну и кричит: «Не он, товарищ лейтенант». Вышел наружу лейтенант с биноклем, стал через него глядеть. Глянул и я в ту сторону и вижу: далеко, верст за десять, где склон, дым чуть поднимается. Лейтенант вызвал наряд и говорит мне: «Протоки знаешь, проведешь». Я отнекиваться: мол, якут, наверно, запалил огонь обогреться. Лейтенант засмеялся: «С утра греется, у них так не бывает. Следуй, куда тебе приказано». И забрали меня.

— Втравили, — вставил шофер.

— Втравили, — повторил охотник и, передохнув, продолжал: — По островам пробирались, а дошли до места примерно, такой бурелом начался, что ни назад, ни вперед, и чаща стеной стоит. Круг сделали, на след свой вышли, и ничего. Темнеть стало, солдаты заговорили: ворочаться, мол, надо. Старшина же ни в какую: «Пока не узнаем, кто был тут, не уйдем. В лесу заночуем».

Остановились у протока и зажгли костер, улеглись у огня. Заснул я и не знаю, долго ли спали, а только проснулся, будто кто говорит. А это солдаты, какие на стороже были, промеж собой заговорили: «Поме-рещилось тебе. Где свет?» — «Вон же, на воде». — «И впрямь. Буди старшину».

Разбудили старшину, меня в бок толкают. Поднялись все. Отошли к берегу, подале от костра, и увидели на повороте, где плесо разливалось, на этом плесе огонек чуть кажется: и то посветлеет, то опять гаснет. Мигом собрались и туда ан как подошли, то и совсем видно стало, что где-то сверху, на уступе, огонь горел. Взобрались на уступ и завидели: на поляне костер горит, а возле него, у поваленного ствола, сидит привалившийся человек. Сидит и не движется. Видно, он спал, потому не слышал, как к нему подошли. Кинулись к нему солдаты, он как вскочит и за винтовку, но вин-

товку выбили из рук. Упал он на снег, подскочил старшина, шапку сорвал с него, глянул на нее и говорит: «А, попался! Каторжник?» А он как упал, так и лежит, только, помню, крикнул: «Моченьки моей нет!» Подняли его, обыскали. Нашли в мешке шишки кедровые. Ими, видно, и питался. Стали допрашивать, а он будто не в себе, всё бормочет: «шумит» да «шумит». Спрашивали: «Кто шумит?», а он опять свое: «Голова шумит. То тайга шумит».

Старшина только рукой махнул: мол, «дошел». Дал я ему сахару, в узелке завязан был. Так и упился им, а у самого — одни глаза торчат.

— А как узнали, что он каторжник? — спросил я.

— По одежде видать. У них на шапке и на спине в телогрейке номера вышивают. Они их срезают как бегут. Но как ни заделывай, оно видно.

А утром повели его на пост. Обратно идем по сухому ложку. Спереди солдат, позади — остальные. Идем гуськом по-над уклоном, а внизу ложка густой тальник. И откуда у него сила взялась, такой отощавший был, а тут прыгнул к уклону да по нему вниз кувырком. Не успели схватиться, а он уже в кустах. Кто-то выстрелил, но старшина приказал не стрелять: «Не уйдет. Живым возьмем». И впрямь не уйти ему было, — впереди протока показалась. Подбежал он к воде, а деваться некуда и уже солдаты к нему. Обернулся он и крикнул: «Стреляйте же, всё одно смерть!» — да с берега и кинулся в воду. Протока там в омутах так и крутит, и потянуло его в глыбь. По нем не стреляли, — только раз показалась рука, а там и она пропала. Прошли берегом. Не нашли. Быстриной снесло.

— А остальные, какие ушли дальше, о них было что слышно? — спросил я.

— Про них не знаю. Переняли каких-то беглецов на конце дороги, проводили их тут под конвоем, да вряд ли это были те. Каторжных редко приводят...

Охотник поворочил угасший костер, но в нем всё

прогорело, и только шипела, испуская пар, сырая палка. Никто не встал в него подбросить. Уже светало. По небу разбежались красноватые полосы, и в их отсветах выступала глыба хребта, откуда мы спустились с перевала. Он, распластавшись в верховье огромной долины, лежал угрожающе, как занесенный над нею кулак, и загораживал зарю. Но зоря занималась и ее уже ничто не могло задержать. Небо светлело, таяли сумерки. В лесу застучал черный дятел, невидимый в скором полете проблеял бекас. Из травы выпорхнул другой и ушел ввысь к своему собрату. Загоготали гуси на наледи, им отозвались на болоте журавли.

— Началось. Теперь только слушай, — сказал охотник, как бы приглашая вслушаться в голоса птиц.

В разливе кричали утки, звенели на разные лады кулики. Гомон казарок и гусей катился над наледью. Пролетел орел с зажатой в когтях пойманной рыбой, уселся на уступ террасы и разразился клекотом. Но и громкий клекот хищника не нарушал песни, в которой слились птичьи голоса. Это была благодарная песнь земле, которая их накормила и приютила.

С ледяной равнины снимались отдохнувшие за ночь стаи и, поднявшись в вышину, держали свой трудный путь на север.

— Уж мне пора, — поднялся охотник.

И нам было время собираться. Шофер завел мотор и, пока он прогревался, обошел машину, пробуя скаты ударом ключа. Когда всё было готово, он, перед тем как подняться в кабину, обвел глазами таёжные дали с воздушными линиями гор и проговорил:

— Загнали ж нашего брата. Вот она тайга... Глянешь на нее и сердце щемит...

— Ее не вини. Она ж тут причем? С людей спрашивай, — сказал охотник и, подняв котомку и ружья, зашагал к своему шалашу.

А мы отправились дальше. Синела в утренней дымке тайга, над нею сверкали снегами вершины. Бежала навстречу Алданская трасса.

Александр Петров-Агатов

Арестантские встречи

НЕВЫДУМАННАЯ ПОВЕСТЬ

VI

За стихи «На мордовской земле» мне пришлось отсидеть пяток суток в изоляторе. После общелагерного обыска, который проводился регулярно, меня пригласили кагебешники майор Круть и молоденький лейтенант Ершов, променявший профессию учителя на жандармский мундир.

— Вас же предупреждали, Александр Александрович, что за антисоветские стихи и пропаганду антисоветских убеждений в любой форме мы будем наказывать, — начал с места в карьер Круть, выкатив жестяные, тусклые, как уличные фонари, глаза. — И скрыть от нас ничего невозможно, ибо мы — советские чекисты. Ваши стихи?

— Мои, — твердо ответил я.

— Как это вы, — вмешался Ершов, — культурный человек, талантливый поэт, можете писать такое?

— Вот именно, — вставил Круть, подойдя ко мне вплотную.

— Я не вижу смысла продолжать разговор с вами, — сказал я.

Несколько секунд молчания.

— Тогда, — резко повернулся майор, направляясь к столу, — придется вам отсидеть пять суток в изоляторе.

См. начало в «Г р а н я х» №№ 82 и 83. — Р е д.

— Я готов.

— За стихи, за эти стихи! — добавил он.

В постановлении, с которым меня ознакомили при водворении в каменный мешок, было написано: «За систематическую антисоветскую пропаганду, отрицательно влияющую на контингент».

Мне вспомнился капитан Колодочка, начальник другого лагеря. Как-то, зайдя в лагерную школу на урок русского языка, он увидел на школьной доске это труднонаписуемое для малограмотных слово.

— Контингент? Гм! — И, надувшись как лягушка, заквакал на учителя: — Не позволю! Разглашать государственную тайну?! Не позволю! Сейчас же сотрите слово контингент.

В изоляторе я объявил голодовку, не находя в себе возможности смириться с мыслью, что нормальные люди могут за стихи послать в карцер. Лермонтова — за открытое подстрекательство к мятежу царь послал развлекаться в Пятигорск, Пушкина — за призыв к свержению самодержавия — в ссылку.

Снова вспомнилась Екатерина, ее разговор с видным художником: не под монархическим управлением угнетаются высокие, благородные движения души, не там презираются и преследуются творения ума, поэзии и художеств. Напротив, одни монархи бывали их покровителями. Шекспир, Мольер процветали под их великодушной защитой, между тем как Данте не мог найти угла в своей республиканской родине; истинные гении возникали во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и террора, которые не подарили миру ни одного поэта. Нужно отличать поэтов, художников, ибо один только мир и прекрасную тишину низводят они в душу, а не волнение и ропот. Ученые, поэты и все производители искусств — суть перлы и бриллианты в императорской короне, ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя.

Комментарии, как говорится, излишни.

Через день после заявления о голодовке пришел сначала начальник отряда — молодой кукольный лейтенант на шнурке: куда его дернут, туда и повернется. Потом замполит майор Спирин, с желтым и сморщенным, как сушеная груша, лицом.

Голодовки я не снял, но из изолятора меня не выпустили, пока не истекло пять суток. Это было и к лучшему, как, впрочем, всё, что ни делается, — только к лучшему, в этом идеальная мудрость Творца.

В банный день я познакомился с Яковом Бергом*, находившимся в то время на шестимесячном камерном режиме за непреклонность своих антисоветских убеждений.

Это был очень честный и мужественный еврей. У него тоже была борода, но большая, под Маркса, только цвета более неопределенного: и ни красного, и ни белого, и ни черного, и ни рыжего. По-видимому, надо было перемешать эти цвета, чтоб получить цвет бороды Берга. Бородой, как и убеждениями, он дорожил. Когда к нему приехала восьмидесятилетняя мать (это было до его перевода на камерный режим, на котором свиданий не дают), чекисты предложили Якову в ультимативной форме снять бороду.

— Не снимете, — свидания не получите.

Не снял. Свидание дали. Нельзя было не дать: среди определенной группы политических могли вспыхнуть волнения.

К чести отдельных арестантов, на отпор советскому мракобесию, хоть и не очень многие, но были способны. Петербуржца Леонида Бородина — талантливого поэта и умного историка — посадили в изолятор за то, что он отказался посещать политзанятия. Назавтра не вышли на работу все петербуржцы. Их поддержали коммунары во главе с Хахаевым, либеральная группа Драгоша.

* См. его биографию в «Г р а н я х» № 80, стр. 160. — Р е д.

Примчались на рысях «кавалеристы», то бишь кагебешники из Саранска, прокурор и другие.

Леонида Ивановича, отказавшегося даже на аркане слушать галиматью, из карцера выпустили и на некоторое время отстали от не желающих приобщаться к марксизму-ленинизму.

Возвращаюсь к Бергу. Он был единственным человеком в политическом лагере, демонстративно не принимавшим пищу в революционные праздники, не желавшим работать на советскую власть ни на какой работе. Он голодал по всякому поводу, давая понять чекистам, что он всем своим нутром, всем существом своим протестует против советской власти. И голодовка — это единственное оружие, которое у него оставалось в цепях. И будет он этим оружием действовать постоянно.

Воспользовавшись случайным свиданием с Бергом в бане, я спросил:

— Чем могу быть вам полезен? Если разрешите, передам по выходе в зону что-нибудь из продуктов, могу присылать книги, журналы.

— Благодарю! — жестко ответил Яков. — Я привык пользоваться только тем, чем располагаю сам.

Между прочим, Берг арестован по одному делу с Айдовым. В лагере они разорвали отношения, но старались не говорить друг о друге ни хорошего, ни плохого.

Совсем недавно мне стало известно, что Берга отправили во Владимир.

Делал я попытку познакомиться на одиннадцатом с тихоновцами. Читатель, конечно, знает об этой православной группе в России. Попытка не увенчалась успехом.

Орлович, к которому я подошел, тоже был с бородой, как и все тихоновцы. И бороды у них всех были одного цвета: густорыжими и длинными, у некоторых чуть не до пупа. Он спросил меня:

— А вы не из чека?

Всегда тихий, степенный, Орлович работал санитаром в инвалидном бараке. Мало было желающих ухаживать за умирающими старцами, они опраивались под себя, в бараке стояла вечная вонь, но Орлович работал прилежно, относясь к несчастным по-братски.

— То есть как из чека? — не сразу понял я, настолько был ошарашен этим вопросом. — Да разве вы меня не знаете?

— Знать может всё только один Бог. Вы, конечно, заключенный. Это я вижу. Но что у вас на душе? — И сам ответил: — Вот то-то и оно.

Обида и боль захлестнули меня.

— Никакой вы не верующий! — крикнул я. И ушел.

Я был неправ. В гневе и обиде человек никогда не может быть правым. Рассудок наш в это время помутнен. Орлович — очень верующий, но понял я это позже, будучи а семнадцатом, куда попал вместе с ним..

С иеговистами сойтись было легче. Они очень настойчиво проповедовали свое учение и было их в лагере немало. У них всегда имелась уйма религиозной литературы, главным образом, проповедей, поучений, разъяснений и разных номеров журнала «Башня стражи». Были, конечно, и Ветхий Завет, и Евангелие, которые они умели прятать. А когда чекисты обнаруживали эти книги, без боя иеговисты их не отдавали.

Карл Ясоветский рассказывал, что когда пришли его арестовывать и начали делать обыск в квартире, дочка Галя, десятилетняя девочка, схватила со стола Библию, прижала ручонками к груди и взволнованно закричала:

— Убейте, но не отдам! Не отдам слова Божьего! А когда уводили отца, сказала:

— Папка, будь верен, лучше — смерть.

Дмитрий Зарубин и Василий Патрушев относились к учению иеговистов резко отрицательно.

— Одному из наших старцев, — рассказывал

Дмитрий, — после того, как тот дерзнул спросить у Бога «Что же это такое иеговисты? Объясни, Господь!», — приснился сон: идет человек и несет сосуд с молоком. Потом берет навозную гущу, мешает ее с чистым молоком — словом Божиим и раздает людям. А голос старца говорит: вот кто такие иеговисты.

Но при всем при этом сажали их беспощадно. И все они уже тянули в лагере по второму-третьему сроку.

Несколько лет, но без видимого успеха, грыз лагерную науку жизни инженер Игорь Васильевич Белик, привезенный сюда за участие в новочеркасском мятеже. Остальных мятежников, которых отобрали более пятисот, препроводили в Коми. Способный математик и физик, знающий в совершенстве несколько языков, пишущий стихи и пьесы, Игорь Васильевич давал понять, что он безнадежный материалист, на верующих смотрел со снисходительной улыбочкой, а когда Зарубин принес ему отремонтированные и начищенные до блеска сапоги (Дмитрий в свободное время тачал арестантам сапоги, и всегда безвозмездно), сказал ему вслед:

— Не терплю лакеев.

Очень ученый, он зарубинской любви, идущей от Христа, понять не мог. Не дано ему это было. Недаром же арабские мудрецы изрекли в свое время: ученым быть легко, человеком быть трудно.

В этой связи мне хотелось бы повторить давно известные афоризмы: кто хочет другими управлять, пусть сначала научится собой владеть; принимающему большую власть — надлежит большой ум иметь; уча, учи поступками, а не словами; держись со всеми, как равный, если в жизни ты и выше; муж книжный, но без хорошего ума, как слепой, муж мудрый, не книжный, подобен забору без опор.

Среди новых моих знакомств был Троицкий Зиновий Анатольевич, кандидат юридических наук, ра-

ботавший, кажется, до ареста в Пермском университете. Их арестовали вместе с женой за связь с НТС. Супруга недавно закончила срок.

Очень мне был близок Володя Кривцов. Он вырос в лагере, отбухал уже двадцать лет. Вот-вот должен был освободиться и всех пленял своей непосредственностью и оптимизмом.

— Конец коммунистам! Конец! Ну разве вы не видите, братцы, что эти живодёры на краю пропасти?..

Был он очень русский, без образования, но умный. Глядя на него, слушая его, можно было лишний раз убедиться, что разумение, просвещение и воспитание от Бога. Только от одного Него. Вот почему простые люди, осененные светом Божиим, — носители настоящей культуры.

За день до своего освобождения по окончании срока пришел ко мне священник Краснюк, незадолго до ареста закончивший Ленинградскую духовную семинарию.

— Давно хотел познакомиться, да всё стеснялся, — сказал он, представляясь. — Буду краток: это правда, что вас предала Елена Борисовна Загрязкина, староста черкви?

Я коротко сказал то, что читатель уже знает.

— Чудовищно, чудовищно. Однако куда уж дальше, если Осипов — наш преподаватель... — и священник поведал мне грустную историю о том, как богоотступник профессор богословия Александр Осипов приезжал в лагерь и призывал верующих арестантов отречься от Бога.

— Я, знаете ли, не вытерпел, подошел к нему, вещающему со сцены, и спросил: — Вы меня помните? — «Нет!» — смутился и побледнел Осипов. — Зато я вас не забуду никогда! Священник Краснюк, которого вы призывали быть верным Богу. Что же вы говорите теперь, Осипов? Неужели в вас совсем нет стыда? — В столовой, где проходила лекция, поднялся шум. Оси-

пова чекисты поспешили увести задним ходом, хотя заднего хода как такового у Осипова, конечно, уже не было. Однако (священник любил это слово) как вы думаете, — посмотрел он мне в глаза своими тревожными карими лучиками, — есть ли такая грань падения, после которой уже невозможно подняться к Богу?

— Ни один человек не падает так низко, чтоб не мог подняться до Бога.

— Однако, однако, — развел руками Краснюк.

Последним моим любопытным знакомством на одиннадцатом была встреча с поэтом Анатолием Радыгиным. Что осталось от нескольких встреч? Прежде всего, конечно, великолепные сонеты. Букеты сонетов, которые он мне читал. Может быть, чуть холодноватые, по-современному рассудочные, они были совершенны по форме и ёмки по мысли. Как человек Анатолий рисуется мне не очень уравновешенным, но компанейским, рубахой-парнем. Он без конца блистал своей отточенной, как и его стихи, антисоветчиной. Его пародия на песню «С чего начинается Родина» молниеносно облетела весь лагерь. Помню, там были такие строки:

С чего начинается Родина?
С тюремных холодных глазков.
С этапов, которыми пройдена
Россия — отчизна рабов.

И последние слова:

Известно мне, где начинается,
Вот знать бы, окончится где...

Анатолий сейчас тоже во Владимире.

...Я опасаясь, что читатель может подумать, будто политический лагерь для меня и для всех нас, арестантов, это — одни встречи за кружкой кофе и бесконечные интервью.

К великому огорчению, это совсем не так. Кофе мы, конечно, пили. Чаек — тоже. По два — два с половиной рубля за пятидесятиграммовую пачку можно было достать нелегально и грузинский, и индийский напитки. Кофе, как правило, котировался по рублю за стакан. Продавали, разумеется, вольные, — проверенные коммунисты. Любители спиртных нет-нет да могли глушануть на производстве кружку красильного лака, так как работа арестантов была связана в основном с мебельными цехами.

Развод начинался в семь утра. Бригада за бригадой по узкому коридору, образованному солдатами, проходили из одной зоны (жилой) в другую, рабочую. Сюда, в рабочую, свозился лес из Архангельской области и Урала. В Мордовии его весь уже вырубали.

Лес этот катился вручную на транспортёр, подавался на лесопильный завод и оттуда, раскрежеванный и распиленный, шел по цехам. Делали серванты, стулья, спальные гарнитуры, ящики для телевизоров.

Счастливые советские семьи могут спать спокойно: они почивают на койках, сделанных в ведомстве МВД пленниками-арестантами. Сидят — в учреждениях (и дома тоже) на наших стульях в прямом и переносном смысле этих слов. Настенные коробки для больших часов — тоже наши. Да и время. Время тоже работает на нас. На гонимых — арестованных и заключенных, на людей верующих, на антикоммунизм и антикоммунистов. Вчера я от одной своей знакомой из Москвы получил письмо в ответ на свое, в котором просил ее не отчаиваться. Она мне пишет: «Я не отчаиваюсь, а просто трезво мыслящий человек, поэтому остаюсь при своем мнении. А мнение таково: не будет вам от советской власти ни дна, ни крыши. Сидеть будете».

Не будем! Не будем! Мы на пороге большой свободы и величайшей эры Возрождения. Подошел год Времени. Наш год.

Однако, как говорил священник, — ну что же, однако, дорогая Иринушка, проживем... посмотрим...

А сейчас мне надо заканчивать главу... Так вот. Не знаю, по каким соображениям — политическим, экономическим, или каким-либо другим — в Москве решили, что политический лагерь на одиннадцатом надо ликвидировать и перевести в него уголовников. Мы об этом узнали в последние дни июня. Жили, как на колесах. Двадцатого нам не дали пробыть на заводе до съёма (а съём был в пять часов) и после обеда стали вытаскивать в жилую зону, превратившуюся в вокзал. Там и тут мелькали мешки, чемоданы, узлы, котомки. Каждый старался узнать, куда едем. А пути было три: один — на третий, второй — на семнадцатый, а последний — на девятнадцатый, откуда в нашу зону перебрасывали уголовников. Всё это была тоже Мордовия. Вся эта земля — сплошные вышки и заборы, провололочные и деревянные.

Мы с Ивановым попали на семнадцатый, Андрей Донатович — на третий, Вагин и Ивойлов — на девятнадцатый. Вечер кончающегося дня и утро следующего мы провели с Синявским, переговорив, кажется, обо всём. Оба молились, оба плакали. Андрей Донатович, пока дошел до вахты и скрылся за воротами, обернулся не менее десяти раз: он не мог не чувствовать моего взгляда, устремленного ему вслед. Думаю, что и благословляющие руки мои над собой он тоже не забыл.

Во второй половине дня двадцать девятого июня, размещенные на двадцати специально оборудованных грузовых машинах, арестанты, отобранные на семнадцатый, тронулись в путь.

На одной из машин, согнув ноги калачиком, сидел я. Рядом — Орлович. Впереди — лес и ухабистая в колдобинах дорога. В России и по сей день мало дорог. Прямо перед нами в машине стояли два автоматчика. Они как-то стеснялись глядеть нам в лица, и глаза их бежали по сторонам. Автоматы, как и там, в здании суда, смотрели вкось. На нас смотрели автоматы.

VII

Ехал я на семнадцатый охотно, надеясь на встречу с Галансковым* и Гинзбургом,** о которых слышал много разного. Мне хотелось встретиться с Даниэлем. Юлия Марковича я встречал только однажды, будучи в побе-ге и умудрившись на нелегальном положении работать референтом министра культуры Чечено-Ингушской республики. Тогда-то меня и познакомила с ним чеченская поэтесса, ныне председатель писательской организации республики, депутат Верховного Совета СССР Раиса Салтимурадовна Ахматова, питавшая к поэту добрые чувства. Курирующий республиканское издательство, я, по просьбе Раисы Салтимурадовны, помог Даниэлю заключить договор на переводы стихов чеченских и ингушских поэтов.

На одиннадцатом о Даниэле все арестанты, знавшие его в лагерной жизни, отзывались с большой симпатией. Юлий, говорили они, бескомпромиссен с администрацией, не скрывает своих убеждений, честен и прост с товарищами. Чекисты его не жалуют: все время гоняют по изоляторам и тюремным камерам.

Разумеется, после этого мне не терпелось поближе узнать Даниэля, да и стихи его хотел послушать.

Много хорошего я слышал о Платонове и Бородине.

Но чекисты и на этот раз сыграли с нами злую шутку. Они не оказались настолько дураками, чтоб соединить политических с одиннадцатого с политическими с семнадцатого. Кто-кто, а коммунисты формулу «разделяй и властвуй» знают отлично.

Рядом с семнадцатым политическим, буквально за забором, были женщины-уголовницы. Чекисты их вывезли, а нас привезли собирать оставленные на память

* См. биографию Ю. Галанскова в «Г р а н я х» № 80, стр. 137 — 140. — Р е д.

** См. биографию А. Гинзбурга в «Г р а н я х» № 79, стр. 99 — 100. — Р е д.

сувениры: ленточки, резинки, всякие лоскутки, и, конечно же, женский дух. Молодежь первые двое суток плохо спала. А молодежи было немало: до ста человек. Тут оказался и талантливый композитор, он же исполнитель своих песен, Николай Богач¹⁵, бывший студент сельскохозяйственного техникума, вздумавший организовать в учебном заведении группу по борьбе с советским бюрократизмом; и очень тихий и скромный Сергей Ходженков, намеревавшийся взорвать крупнейшие глушители зарубежных радиостанций, за что уже отбухал семь лет, а еще пять было впереди. Приехали с нами и выпускники армянских вузов Овик¹⁶ Василян и Ширак Гюнашян¹⁷ и художник Айк Хачатрян,¹⁸ создавшие подпольную организацию «За освобождение Армении от коммунизма» и успевшие выпустить несколько номеров своего журнала.

Художника Айка Хачатряна — стойкого и сильного борца — прошу не спутать с тем Ашотом Хачатуряном, которого посадили ко мне в Рязани, по дороге в Мордовию. Ашоту никто из армян не подавал руки. Сын бывшего заместителя министра водного хозяйства Армении, он, как я уже рассказывал выше, окончил Армянский технологический институт. Позже выяснилось, что, приехав в научную командировку в Японию, он обратился в американское посольство с просьбой о предоставлении ему политического убежища и оказался в Америке. Там вскоре выяснилось, что быть инженером по-советски это еще не значит быть инженером на самом деле. Ни комсомольский, ни партийный билеты помочь тут не могли. Нужны были знания, а знаний у Ашота не оказалось. Работать на поделных работах он не хотел, слишком был изнежен и избалован папой и мамой. Тогда он пришел в советское посольство с просьбой вернуть его обратно. Возвратили, пообещав, конечно, забыть «ошибку молодости». И только теперь Ашот начал познавать советскую власть на деле. Ему дали десять лет за измену родине. Говорят, он

бился лбом о стенку в Ереванской тюрьме, но чекистов этим не прошибешь. Вилить и юлить на свободе можно. В тюрьме это трудно. Ашот попытался, неся бревно с товарищами, подогнуть плечо. В первый раз его предупредили, что так делать нельзя. Затем еще раз предупредили, а в третий — ударили по голове. Ашот побежал в оперативный отдел. Его окружили презрением.

Бедная его мать, заслуженная учительница республики, рвет на себе волосы: она убеждала сына вернуться в Армению, когда тот оказался в США, гарантируя ему неприкосновенность, согласно обещаниям прокуратуры и действующей конституции.

Из петербуржцев на семнадцатый приехали, кроме Иванова, Георгий Николаевич Бочеваров, Михаил Борисович Коносов и Валентин Иванович Нагорный*. Машков, Николай Федорович Драгош, Соломон Борисович Дольник* тоже были здесь.

Но большую часть арестантов, как и на одиннадцатом, составляли бывшие «полицаи» времен немецкой оккупации. Самые умелые из них в деле перелицовки кожи в течение нескольких часов оккупировали все сытные и наварные точки: кухню, каптерку, даже магазин; устроились дневальными, бухгалтерами, контролёрами, браковщиками, мастерами.

На одиннадцатом, где было 1400 арестантов, это бросалось в глаза не очень, но тут, в маленькой зоне, состоящей из двухэтажного жилого помещения и хозяйственных построек, среди 350 арестантов, всё было на виду.

Утром не оказалось воды ни в умывальниках, ни в питьевых бочках. Селедку дали гнилую. Среди «семи-десятников» (так называют себя осужденные по семидесятой статье) прокатился ропот. Когда же пришли на работу, поднялся настоящий крик.

* См. биографии В. И. Нагорного и С. Б. Дольника в «Гранях» № 83, стр. стр. 77 — 78. — Р е д.

- Шить рукавицы?
- Какой дурак это придумал!
- Отродясь иголку в руках не держал!
- Я слепой. У меня плохое зрение.
- Где эти идиоты?

Идиоты пришли, и целая куча: директор фабрики, главный инженер, главный механик. Даже инженер по технике безопасности. Все, конечно, при погонах МВД. Появилось и лагерное начальство.

— Что шумите? В чем дело? — стараясь казаться спокойным, вытянув пёсье, под лягавую, лицо, спросил старший лейтенант.

- С кем имеем дело? — бросил кто-то зычно.
- Начальник лагеря.
- Фамилия? — снова раздалось откуда-то.
- Старший лейтенант Гаркушев.

Его окружала группа офицеров. Одному из них — старшему лейтенанту Банайкину — тут же прилепили кличку «Фокстрот» за вертлявую походку.

— Так вот, Гаркушев, вези нас обратно, — не то в шутку, не то серьезно прорычал Кузин, недавний солдат, неудачно попытавшийся перейти границу Западной Германии и прозванный арестантами «Ахтунгом» за то, что при появлении администрации кричал: «Ахтунг! Ахтунг! На земле красноголовые!»

— А если серьезно? — роя землю носком ботинка, спросил начальник.

«Серьезно» — произошло завтра. В жилом помещении появились листовки, призывающие арестантов к отказу от работы, к саботажу и т. д. Подпись — РПП, которая тут же расшифровывалась: Российская Прогрессивная Партия.

На работе никто ничего не делал. Все кучковались на дворе, загораая на солнце. Администрация растерялась. После обеда приехали управленческие чекисты, а к вечеру — следователи из Саранска. Дневальный штаба не успевал вызывать арестантов. В первую оче-

редь потащили осведомителей, которые ничего не знали, потому что все знали осведомителей. Потом — подозрительных с точки зрения Чека: всех петербуржцев, меня, бунтарей типа Вячеслава Кузина. Ответ у всех был один: не знаем, не видели.

Я вообще отказался отвечать на вопросы, потребовав санкции прокурора о привлечении к следствию. То же сделали и Иванов с Бочеваровым. Но чекисты не сдавались и начали вызывать всех подряд, стараясь заручиться образцами почерков. Это вызвало новую волну протестов: посыпались заявления к прокурору о нарушении законности, будто она когда-нибудь существовала в Советском Союзе.

В конце концов чекисты вынуждены были сдаться. Дело о листовках прекратилось. Но дело с работой заключенных у лагерной администрации не сдвинулось ни на йоту: мы по-прежнему грелись на солнце и читали книги.

Рассвирепевший Гаркушев попробовал однажды опрокинуть ногой кружку с кофе. Он еле унес ноги из зоны. И снова наехала орава начальства. На этот раз — всё руководство Управления за исключением Громова, начальника. Великий в прошлом, он как-то в последнее время сдал и старался быть в стороне.

Если на одиннадцатом влияние петербуржцев на арестантов в общей массе почти не чувствовалось, то здесь Иванов и Бочеваров как-то вдруг сразу стали для молодежи притягательными центрами. К ним шли, их слушали, им подражали. Это не могло не стать известным руководству, и начальник оперативного отдела со своей свитой подошел к Николаю Викторовичу.

— Какие у вас претензии к администрации? — спросил он.

Иванов очень доказательно и объективно выложил всё: и о плохом питании, и о гнилой селедке, и об отсутствии продуктов в магазине, и о нерегулярной доставке газет, и о плохо работающей бане, и о невозможности

выполнения нормы в связи с тем, что никто никогда не шил рукавиц. И сшить шестьдесят пар каждому было не под силу.

...Подполковник понюхал селедку, сунутую ему кем-то чуть ли не в рот.

— Да, селедка неважная, — и, повернувшись к Гаркушеву: — Запретите выдачу.

— Слушаюсь.

— В отношении работы... Два месяца дадим вам ученических. Спрашивать нормы в этот период не будем. Газеты, баня, хлеб — всё будет.

— Гарантии! — потребовал Иванов.

— Человеку надо верить, — улыбнулся подполковник.

— Человеку, конечно... — не растерялся Николай Викторович. — Но вы, простите, тюремщик.

— И вам не стыдно, Иванов?

— Я же не начальник оперативного отдела, — отрезал арестант. И тут же, не давая подполковнику придти в себя:

— А как же с продуктами в магазине?

— Мы сами едим почти то же, что у вас в ларьке, — не подумав, брякнул правду начальник оперативного отдела.

— Очень плохо, что на пятьдесят втором году советской власти вы так питаетесь...

Общий хохот.

Подполковник, потеряв контроль над словом, выпалил:

— Ну, знаете... вот когда *вы* будете управлять, тогда посмотрим, будет ли лучше!

— Но для этого надо уже сейчас нам поменяться с вами местами, — подвел черту Николай Викторович.

Победа была полная.

Подполковник со свитой бежали самым настоящим образом.

И это была победа не только арестанта над высоким по положению чиновником МВД. Это была победа одного учения над другим, одной партии над другой. Это была победа свободы над вечной тюрьмой. И олицетворением свободы был Николай Викторович Иванов, а олицетворением тюрьмы — скованный цепями советского бюрократизма начальник оперативного отдела.

Пожимая руку Иванову, я попросил разрешения познакомиться с материалами следственного и судебного дела социал-христиан. Николай Викторович любезно мне предоставил такую возможность. Я читал запоем, перечитывая отдельные страницы по нескольку раз.

Да, немудрено, что адвокаты, защищавшие Огурцова, Садо и Вагина, подозревались чекистами в благосклонном отношении к арестантам. Игорь Вячеславович Огурцов, о котором уже на одиннадцатом я слышал очень много лестного, после моего ознакомления с материалами дела вырос для меня в исполинскую фигуру. Умница, с широким образованием, чистый и мыслями, и сердцем, и языком, и телом (в тридцать пять лет он целомудрен), даже со страниц приговора и стенограмм суда Огурцов взлетал, как орел, и я видел уже крылья его, раскинутые над Россией. К этому арестанту приходили на поклон и заместитель генерального прокурора Терехов, и представитель ЦК. Уговаривали отказаться от убеждений. Встретив отказ, пугали расстрелом. Не дрогнул. К великой чести России, — не дрогнул и принес во Владимирские казематы белые ночи Петербурга.

Я обнимаю вас, мой дорогой соотечественник. Я целую землю, по которой вы ходите, Евгения Михайловна и Вячеслав Васильевич, — мать и отец Огурцова.

Наш Игорь, ваш «Горик» скоро вернется в город на Неве. К вам вернется, счастливые родители. Иметь такого сына — счастье, которого ни с каким другим сравнить нельзя.

Такое же светлое мнение сложилось у меня и о Михаиле Юхановиче Садо, первом заместителе Огурцова по организации. Как и Игорь Вячеславович, он достойно вел себя на следствии и суде. Я видел этого человека всего лишь час. В конце апреля он приехал из Владимира на одиннадцатый, но его тут же перебрали на третий, потом будто бы на семнадцатый — в ту, другую, смежную зону, потом снова на третий, не то на «рабочий», не то в больницу.

Чекисты явно боялись держать его на одном месте — так велика притягательная и организационная сила этого ассирийца. Да, да, ассирийца, принявшего Россию всем своим существом и идущего за нее на самые передние и опасные рубежи.

Когда Михаил Юханович был на последнем курсе университета, его пригласили в Ленинградское КГБ.

— Вы прекрасно знаете арабский язык, — начал капитан. — Не будете ли любезны перевести на русский язык небольшой текст...

Садо перевел. И ему было предложено согласиться работать в аппарате КГБ.

— Мы пошлем вас в Израиль, ведь вы отлично знаете и иврит. Перед вами откроется блестящая карьера, Михаил Юханович. Вам не будет хватать только разве птичьего молока.

— Я предпочитаю молоко истины. Молоко христианского учения.

Как-то Блок сказал: у поэта нет карьеры. У него есть судьба. У ученых, истинных ученых типа Садо карьеры тоже нет. У таких — колоссальные знания и чистая совесть. Где вы, Михаил Юханович? Я так хочу увидаться с вами.

... — А вы знаете, какой сон я видел после суда? — как-то рассказал мне Иванов. — Будто все мы, члены организации, находимся в церкви и Михаил Юханович повелительно нам говорит: «На колени! Немедленно на колени! Кайтесь!»

И петербуржцы действительно каются. Но не в том, что пошли за Богом, а в своих слабостях и ошибках на большом многотрудном пути. Самое же главное, что они идут к Богу.

... На семнадцатом я познакомился с Ефимом Павловичем Гороховым. Престранная личность. Окончил два института. Работал преподавателем в Ошском пединституте. Выгнали за неуживчивость. Отовсюду его каждые полгода выгоняли за неуживчивость. Все родные от него отказались. Загнанный в тупик, написал советскому правительству заявление об отречении от подданства и потребовал разрешения на выезд в Израиль. Отказали, конечно, и посадили вдобавок. В лагере всё время пишет какие-то математические расчёты и шьет рукавицы. Норму выполнить не может, поэтому скупает рукавицы у тех, кто делает лишние.

Однажды, получив лагерную газету, издаваемую политуправлением, мы прочли: заключенные такие-то плохо работают. Им созданы все условия, а они, такие-сякие, не хотят искупать своей вины и так далее и так далее, — за подписью Горохова.

Надо было видеть, какую бурю возмущения вызвала у арестантов эта стряпня. Бедного Горохова чуть не растерзали. Ему не давали прохода ни в столовой, ни в секции.

— У... У... У... — гудит цех, когда проходит Горохов.

— Зачем вам это понадобилось? — спрашиваю я Ефима Павловича. — Тем более, что все арестанты знают: сами вы скупаете рукавицы.

— Хотел получить посылку! — признается улыбающийся Горохов, толкая меня животом, похожим на огромный мяч, словно он проглотил его.

И уже с возмущением:

— Не понимаю: кому до этого дело? Мне же надо кушать! Есть мне надо...

История с Гороховым, тем более, что он пользовался поддержкой администрации, снова всколыхнула лагерь. Упреки посыпались в адрес замполита майора Анненкова, грубого и ограниченного солдафона, за то, что он завизировал корреспонденцию Горохова перед отправкой в редакцию. Да и на политзанятия он нет-нет да и гнал силой. Снова посыпались заявления. Производительность труда упала. Гаркушев метался, как тигр в клетке, не знал, на ком сорвать зло. Решил сорвать на инвалидах.

— Всем на работу! — скомандовал он однажды, выстроив безногих и безруких. — Кто не пойдет, — лишу ларька, свиданий, посылки — всего!

— Трупоеды! Дикари! — неслоь отовсюду.

Но кое-кто все-таки пошел, точнее пополз, потому что ходить эти старцы — от шестидесятилетних до девяностолетних — уже не могли.

Соломон Борисович Дольник не пошел.

— Почему не на работе? — спросил на следующее утро Гаркушев.

— Инвалид. Не пойду.

— Лишаю ларька.

Назавтра тот же вопрос.

— Не пойду! — повторил Дольник.

На третий день снова.

— Не пойду.

— Лишаю свидания с женой.

— А я не пойду.

— А я лишаю...

И снова победил арестант. Ничего Гаркушев Дольника не лишил, — побоялся. Но лагерь клокотал всё более и более.

Поступали новые заключенные. Прибыли два инженера из Ровно, привезли семидесятилетнего униата — украинского священника. И, наконец, появился Юрий Иванович Федоров¹⁹, бывший капитан МВД, работав-

ший старшим следователем в Ленинградском управлении.

Мы все уже слышали об этом интересном деле, но, конечно же, нам хотелось знать подробности. Тем более, что Юрий Иванович — высокий, с добрым, открытым лицом, очень непосредственный и общительный — сразу очаровал нас. В тот же вечер мы пригласили его на кофе, на второй день — тоже, на третий — опять. Без него мы уже не пили.

Узнали следующее: в Ленинграде выросла оппозиция нынешнему советскому правительству из руководящих работников МВД и безопасности. Все — коммунисты по убеждению, но в нынешнем курсе партии видят искажение ленинского учения, а посему — надо убрать Брежнева, Косыгина и иже с ними, создать двухпартийную систему, за которую якобы ратовал Ленин, и дать людям свободу.

Ни я, ни Иванов не могли, конечно, даже как-то отдаленно разделить точку зрения Федорова, но мы прониклись к Юрию Ивановичу уважением за то, что он не побоялся вступить на путь борьбы.

В лагере он тоже не только пил кофе. Как-то сразу у него завязались связи с самыми разными людьми. Он близко сошелся с Николаем Федоровичем Драгошем, подружился с Бочеваровым, то в одном, то в другом месте подбрасывал идейки: «а не плохо бы на свободе создать фонд помощи политзаключенным и их семьям»; или: «Давайте будем добиваться статуса заключенных» (о существовании которых у себя в стране советское правительство говорить не любит) и т. д. и т. п.

Однажды, во время перерыва на работе, Юрий Иванович собрал нас, несколько человек, около себя и сказал:

— Соседняя зона голодает. Точно знаю троих: Галансков, Гинзбург, Бородин. Надо поддержать...

— В связи с чем голодают? — поинтересовался Иванов.

— Конечно, надо бы знать причину, — поддержал Бочеваров. — Всё уточнить надо.

— Надежды на уточнение мало. А для людей каждый день голодовки — чего-нибудь да значит... Давайте напишем заявление, выставим ряд требований. А голодать пока не будем. Но дадим понять, что, если требования не будут удовлетворены, — объявим голодовку.

Первого декабря мы бросили заявление в почтовый ящик, а второго, сразу после обеда, на фабрику пришел нарядчик.

— Петров, Бочеваров, Коносов, Федоров, Драгош, Дольник, Сокольский, Иванов, Хачатрян, Меркушев — срочно на этап.

В жилой зоне мы увидели начальника КГБ майора Постникова, какого-то незнакомого капитана, тоже из «кавалеристов».

— Вот это номер! Куда же нас, друзья? — смотрели мы друг на друга.

— Брать полностью все вещи. Даже те, что в каптерке, за зоной... — последовал приказ.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

VIII

Мы, конечно, понимали, что чекисты решили предотвратить голодовку, тем более что приближался день советской конституции. Да и постоянное бурление нашей зоны их пугало, во всяком случае, беспокоило основательно. Они выбрали девять самых убежденных и влиятельных, с их точки зрения.

— Разбросают нас по лагпунктам, — сказал Иванов.

— Скорее всего в Саранск, на профилактику, — предположил Федоров.

— А я думаю, что всех — на третий. Там, кажется, новый цех вступает в строй, — высказал свое мнение Коносов.

Гадали и остальные. Я тоже склонялся к мысли, что скорее всего — Саранск или Центральный следственный изолятор.

За исключением меня, вещей у всех было много. У Иванова, например, девять чемоданов, но не тряпья, разумеется, и не продуктов. Книги, одни книги. Ехали со мной и окружали меня души книжные, за исключением Анатолия Михайловича Сокольского, который ничего не читал, т. к. был убежден, что от грамоты — одни только неприятности, а все ученые — сволочи. Христа не принимал:

— Он — жид, и мне с Ним не по пути, — резал Анатолий, красивый атлет, с очень гордым, но мрачным и суровым лицом, окаймленным бородой, всем своим обликом воскрешающий в моем представлении образ Емельяна Пугачева.

...Сначала заставили побросать в воронок узлы и чемоданы, предварительно, конечно, тщательно прошмонив (обыскав), затем втолкнули самих, прижав друг к другу, как сельдей в бочке.

Разговаривать особой охоты не было. И каждый думал о своем. Мне загрустилось о людях, к которым привык и с которыми теперь расставался. На семнадцатом близко сошелся я с Василием Федоровичем Гребенчиковым²⁰, очень тихим, неприметным на вид старичком. Было ему уже далеко за шестьдесят, ходил он как-то всё стороной, в разговор ни с кем не вступал, и я удивился, узнав, что он в прошлом научный работник, был в Алма-Ате директором республиканской медицинской библиотеки, имел доступ ко всем научным и секретным партийным архивам, результатом чего явился его труд «Коллективизация сельского хозяйства в СССР». Это был страшный обличительный документ против советской власти. Василий Федоро-

вич, уже будучи на пенсии, подрабатывал корректором по четыре часа в редакции молодежной газеты Казахстана и считал долгом своим донести этот труд для людей. О напечатанье в родной стране не могло быть и речи. Поделиться он с кем-либо боялся, даже с самыми близкими. Приехал в Москву и часами простаивал напротив американского посольства — на другой стороне улицы, присматриваясь, как входят в него и выходят счастливчики. Ему такое счастье явно не улыбалось и он, потеряв терпение, сунул рукопись одному из идущих в посольство. Наблюдавшие в штатском чекисты заметили. Гребенщикова задержали. Рукопись изъяли. У Василия Федоровича — семь лет по семидесятой статье.

— Не страшны семь лет, — чуть не плачет Гребенщиков. — Обидно, что рукопись не дошла до людей. Чекисты послали ее на рецензию в академию марксизмаленинизма. Там приписали: «Это докторская диссертация, но клеветническая. Автор (т. е. я) пользовался документами тенденциозно». Это я-то — тенденциозно, убийцы крестьянства нашего!

В спешке я даже не успел на прощание пожать руку Гребенщикову. Не успел проститься и с Орловичем. Он повез в это время нечистоты, работая ассенизатором. Выбирал он труд самый грязный и отталкивающий, которым, как правило, никто не хотел заниматься. Вскоре после приезда на семнадцатый он сам подошел ко мне:

— Вы не сердитесь, Александр Александрович, на меня. И простите. Время такое, что верить никому нельзя. Простите. Очень прошу. Простите, — и поклонился в пояс.

...Сейчас в воронке мне вспомнились эти слова: «Время-то такое, что верить никому нельзя». Сон вспомнился: лагерь и арестанты, разбитые на кучки. И голос: «Вот ты и принят в Духовную Академию».

А ведь лагерь — это по сути дела советская страна. А в государстве нашем все разбиты на кучки, все боятся один другого. Будучи на свободе, так называемой свободе, я пытался приблизиться то к одной, то к другой церкви. Был в старообрядческой, в советской православной, у баптистов... Везде выслушивали холодно, с подозрением, и нигде не хотели помочь, а человеку, вернувшемуся из тюрьмы, нужна реальная помощь. Ему негде жить, нечего есть, не во что одеться, его нигде не принимают на работу. Все церкви — замкнуты, ледяные какие-то, подозревающие приходящего в них. А разве такую Церковь завещал людям Христос? Встречаясь с писателями, журналистами, деятелями искусства, я видел, что все они, или почти все, не принимают советской власти, понимают ее авантюризм, но идут на работу, спешат на партийные и профессиональные собрания, произносят зажигательные речи, голосуют за политику партии и правительства.

— Как же ты можешь при своих антисоветских убеждениях работать в Политиздате редактором? — спросил я одного своего приятеля, русского человека.

— А что же прикажешь делать? — даже не отводя глаз в сторону, вызывающе посмотрел на меня тот. — У меня — семья, сын...

Перед глазами опять проплыл Горохов, послышались его слова: «Посылку хотел получить...»

...В 1957 году взбунтовался весь Грозный, несколько дней мятежничал рабочий Новочеркасск, Айдов и Берг хотели напечатать и распространить миллион антисоветских листовок.

Либеральную группу Драгоша поддерживают миллионы и миллионы. Миллионы мыслят так, как Хахаев и Федоров. И миллионы пойдут сегодня за Огурцовым и Садо. Всё так... Вся страна, или почти вся, не принимает советской власти в нынешнем виде, ненавидит коммунизм.

Но все работают на неё. И никто не хочет идти в тюрьму вслед за Огурцовым, Драгошем... От Федорова отказалась жена. Драгошу не пижут родные братья, у отца Иванова после ареста сына — третий инфаркт. От Вагина отказались ближайшие друзья, боясь, как бы их не выгнали с работы.

Все хотят есть, все хотят выжить, уцелеть.

Есть ли сегодня реальная сила в России, которая может опрокинуть существующий режим?

К мавзолею идет человек, несущий под пальто адскую машину. Он готов взорваться вместе с трупом Ленина — так велика его ненависть к существующему строю. В мертвом Ленине он видит мертвечину, живущую на земле. Этому несчастному с адской машиной неведомо, что трупный смрад...

Смельчак, задыхающийся от пролетарской диктатуры, которая в только что опубликованных тезисах ЦК к ленинскому юбилею признается главным оружием построения социализма, стреляет в правительственную машину. Он хорошо понимает, что пролетарская диктатура — это то Ленин, то Сталин, то Маленков, то Хрущев, то Брежнев, перегрызающие друг другу горло. Они тоже хотят есть, они тоже хотят выжить. Да вдобавок ещё иметь славу, власть.

Есть ли реальная сила в России, которая может опрокинуть советскую власть?

Нет! Такой силы нет! Потому что материализм убил человека, расщепил его личность. Все боятся друг друга, для всех проблема № 1 — выжить любой ценой.

Уголовники открыто говорят: ты умри сегодня, а я — завтра. В отличие от уголовников, так называемые культурные люди этого не говорят. Они мило улыбаются, расточают комплименты, рассуждают о высокой материи, но действуют как уголовники, порой еще более вероломно.

Лучшие из человеков, попав в лагерь, тоже выдерживают не все. Хлебная пайка оказывается сильнее

хлеба насущного, т. е. духовного. Союзы рассыпаются, группы распадаются, остаются отдельные личности. Обидно, конечно, но это — факт, реальная истина.

...Ехали уже минут тридцать, значит, везли нас в Явас, где размещалось Управление мордовских лагерей.

«Или следственный изолятор — или Саранск», — подумал я и снова вернулся мысленно к анализу обстановки.

Никто из едущих в этой машине не сомневался, что советской власти приходит конец. Николай Федорович Драгош даже послал научно обоснованное письмо в ЦК, обращая его внимание на неминуемую гибель государства, если тот не изменит политику в смысле демократизации страны.

Основная беда всех правдолюбцев, настоящих убежденных политических, которых в лагере было очень мало, заключалась, на мой взгляд, в том, что они не хотели понять следующего: в мире всё разумно, все мы — люди — пожинаем свои плоды, все мы ответственны друг за друга, начиная с падения Адама. И в жизни каждого человека ли, всех ли народов, отдельной ли страны или всего мира в каждый новый миг возникает новая, но всегда идеально справедливая «сумма суммаций». Всё выверено на точнейших весах. И злом — ничего ни побороть, ни изменить нельзя. Зло порождает новое зло. И то, что было вчера, уже никогда не возвратится. То, что прошло, — прошло. И всё, что есть, — должно быть. И нельзя родиться, не умерев.

Социал-христиане? Конечно, это самое разумное и самое светлое, на мой взгляд, учение, но не совершенное. Христианство не нуждается ни в каких добавлениях. Христианство — есть христианство, а «социал» — это уже от лукавого, именно тут действительно от лукавого. Вера в Бога и политика — несовместимы. Где

начинается политика, там кончается вера. Вот почему человечество и зашло в пропасть. Столетиями оно уходило от Бога истинного, выдумывая себе богов на земле. Ныне — столетие Ленина: радио, телевидение, газеты, книги — везде Ленин; Ленин — с утра до ночи; сочетающиеся в браке — приходят к нему; улетающие в космос — приходят к нему; к нему — мертвому. Люди, что это? Какое дикарство можно сравнить с этой дикостью.

Нет, в России нет реальной силы, которая могла бы сегодня свалить существующую систему, потому что эта система — все мы. Всех нас пронизала ложь, мы утонули в разврате.

Значит ли это, что всё так и будет продолжаться?

Из памяти выплывают 24-ый, 25-ый, 26-ый стих из третьей главы Евангелия от Марка:

«Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то;

и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот;

и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его».

Кучки, кучки и кучки. Чекисты восстают против чекистов. Коммунисты — против коммунистов, всё расщепляется и осыпается. Люди не верят друг другу. Подошел конец сатаны. Идет Христос. Его приход уже видится некоторым во сне.

...Привезли нас в Явас, в следственный изолятор; рассадили по разным камерам. Со мной в третью попали Иванов, Сокольский и Дольник; в девятую — Федоров, Коносов, Бочеваров; в пятую — Драгош, Хачатрян, Меркушев. Кстати, я не познакомил читателя с Меркушевым. Его зовут Слава. Он молод: ему — двадцать пять. Он — сын ответственного работника МВД; восстал не столько против отца, сколько против советской власти. Увлекается йогой и индийской филосо-

фией. У него тоже, конечно, борода, нежное лицо и твердый характер; в лагере постоянно мятежничает и разговаривает с коллегами своего отца на р-р-р, что значит: гав-гав.

Загнанные по камерам, мы тоже — все без исключения — начали гавкать.

— Ответственного! (Бум! Бум! — по дверям).

— Начальника этого заведения! (Бум! Бум! Бум!).

— Надзиратель! Подойдите сюда! (Бум! Бум!).

Подошел надзиратель. Пришел дежурный офицер и начальник. Каждому принесли по постановлению. Читаем:

Постановление

На основании и т. д. такого-то водворить в изолятор для проведения профилактической работы. *Для воспитания.*

Подпись: начальник КГБ. Начальник оперативного отдела. Утвердил прокурор.

Сначала у всех большие, как у голливудских звезд, глаза. Потом — общий хохот и, наконец, опять: бум! бум! бум!!

Пришедшего назавтра подполковника, назвавшегося заместителем начальника Управления по режиму, выставили за дверь, поняв, что он толком объяснить ничего не может.

Вечером появился Ершов. Его поздравили с прибавлением звездочки на погонах, назвали фашистом и пообещали всей камерой плюнуть в лицо, если нас немедленно не избавят от этого «воспитания» (в камере была грязь, вместо коек — нары, всё у нас изъяли, даже карандаши и бумагу).

— Всё будет. Всё объяснится. Успокойтесь, — однако тут же ретировался и больше не появлялся.

На следующий день я пищи не принял, объявил голодовку и написал резкое письмо секретарю Мордовского обкома партии. Между прочим указал, что у меня больные ноги и я нуждаюсь в лечении, а не в воспитании изолятором.

Появился капитан Афанасьев — тоже из «кавалеристов». Вызывал каждого и объяснял, что мера эта — временная и вызвана нашим конфликтом с администрацией.

— Не с администрацией, а с советской властью, — поправил Драгош.

Ко мне пригласили двух хирургов.

— Да, вас действительно нужно в больницу. Снимайте голодовку, — предложил врач Петришевский, майор по званию.

— Не сниму, пока не выведете из изолятора.

— Это дело — КГБ, — развел он руками.

— Если дадут заключение врачи, — отправим! — отозвался присутствующий при сем Афанасьев.

В ближайшую пятницу (арестантский вагон для политических курсирует по мордовским лагерям только по пятницам) нас развезли. Меня и Дольника — в больницу. У него было что-то неладно с сердцем. Николая Федоровича Драгоша и Славу на девятнадцатый, Сокольского — в малую зону семнадцатого, где были Галансков и Гинзбург. Петербуржцев вернули на прежнее место. И только один Юрий Иванович исчез неизвестно куда. У нас сложилось мнение, что его увезли в Саранск. Мы решили, что мордовским чекистам захотелось посмотреть на своего бывшего коллегу из Ленинграда и послушать его.

IX

В больнице меня ждали более чем приятные неожиданности. Пока вещи мои проходили скрупулезный осмотр, в приемном покое, похожем на милицейский околоток, вездесущий Соломон Борисович доложил:

— Здесь Галансков и Садо!

— Неужели? — удивился я.

— С Садо уже разговаривал. Он работает кочегаром на кухне. Галансков лежит в терапевтическом. Имеет язву.

— А вы — великолепный нюх, Соломон Борисович, — пошутил я.

Не успел войти в корпус (а меня направили в первый, хирургический), как влетел Михаил Юханович. Обнялись, поцеловались. Говорят, что всё в человеке начинается с глаз. Светятся глаза — светится человек. В глазах туча — человек туча. У Михаила Юхановича глаза светились. Глубокие, темные, они хранили на дне мудрость и скорбь, свет же души и любовь переливались на поверхности. Лицо — матовое, губы — крупные (знак широкой натуры) и густая, черным полумесяцем борода.

— Я вам сейчас принесу теплую пижаму, если позволите...

Такт, глубокая, а не наносная культура чувствовалась в этом человеке, в каждом его жесте и слове.

Мы говорили немного. Снующие санитары давали нам понять, что успеется, мол, потом наговоритесь, а сейчас — не время. Но я успел узнать от Михаила Юхановича, что он здоров и недавно привезен сюда из семнадцатого, из малой зоны. Действительно: они голодали — Гинзбург, Галансков, Бородин, художник Иванов²¹, он (Садо) и еще несколько человек в связи с тем, что одному из политических — Калнынышу²² — не выдали посылки, положенной по закону.

— Юрия Евгеньевича Иванова вы не знаете? А! Это гениальный художник! Я вам потом расскажу. Увезли в Саранск. Юру (это Галансков, он, кстати, передает вам привет) — сюда. И меня — сюда... Так что очень хорошо получилось, что вы нас поддержали. Жаль только, что всех наших петербуржцев отправили назад. Скажите мне, пожалуйста, пока коротко, как Коля, Михаил Борисович, Бочеваров?

По тому, как Михаил Юханович называл своих сотрудников, было видно, что Николай Викторович Иванов ему ближе других, но знать он хотел всё и обо всех.

— Вечером я вам принесу конфет. И приду за вами. Будем очень рады видеть вас в кочегарке. Сегодня как раз мое дежурство. Будем пить кофе. Придёт Юрий Тимофеевич Галансков и Ваня Чердынцев²³ — одноделец Драгоша. Симпатичный человек. Тоже, как и я, — недавно из Владимира. А Даниэля увезли недавно во Владимир. Знаете?

Да, я об этом уже знал.

Юрия Тимофеевича я полюбил сразу. Внешне он был что-то среднее между Достоевским и Белинским. Демократическая борода народников шестидесятых годов прошлого столетия; худой, ходил медленно, делал всё неспеша, на слова был не слишком горазд — говорил мало. Глаза рассмотреть было трудно — мешали очки на его прямом носу. Очки всегда прячут глаза, либо как-то стушевывают их.

Из трехчасовой беседы за кофе я понял, что Галансков и Садо люди совершенно разные, но оба честные, мужественные, не мыслящие своего личного счастья без счастья своего отечества. Но каждый по-разному понимает счастье. Опять же: сколько глаз — столько дорог.

Эрудиция и высокий интеллект Садо сразу бросались в глаза. При всей своей чистейшей русскости (Михаил Юханович вырос и воспитался в России) это был южанин. Глядя на него, слушая его, сам того не желая, я мысленно переносился в Ассирию первых веков христианства, того могучей нестигаемой кротости христианства, которое в языческом Риме шло в пасть львов, благословляя kloкочущий в безумии амфитеатр.

Да, Садо — это личность, но личность, а не организация.

Да, Огурцов — это, по-видимому, личность еще более высокая. Но тоже личность, а не организация.

Несколько раз я видел, как у Михаила Юхановича выступали слезы на глазах, когда я говорил о том,

что многие из их группы еще ни к чему серьезному не готовы...

Садо плакал всем существом, он пытался мне выражать, но я видел, что возражения его почвы не имеют. И сам Михаил Юханович, наверное, где-то в глубине души понимал это. Он не мог не понимать.

Галансков был менее эмоционален. И при всей нежности и доброте, в нем чувствовался рационализм. Делал он всё, как и ходил, медленно, но верно. И расшатывал советскую власть настойчиво и методично: статьи и письма широкого звучания так и текли из-под его пера. А писать он умел. Я убедился в этом, познакомившись с его письмом на имя Генерального прокурора о положении политических заключенных в Мордовии.

— Вы в повести своей не забудьте написать, что Игорь Вячеславович серьезно болен. Нужно приковать внимание к нему, нужно приучать людей к тому, что таких, как Огурцов, — нужно беречь. Это — достояние нации, а не той или иной системы.

— Вы только взгляните, какой художник — Иванов! — принеся мне вскоре после нашей встречи две работы Юрия Евгеньевича Иванова, сказал мне Садо.

Работы действительно были потрясающими: портрет Садо* и картина «Русь», сделанные арестантом с пятью судимостями, не вылезающим уже второй десяток лет из-за проволоки.

— У него десятки работ! Это — титан! Титан! Понимаете?! — продолжал убеждать меня Михаил Юханович.

И в словах его мне слышалось:

«Вот она — Русь. Вот наша светлая Россия, Россия Достоевского и Бунина. Протопопа Аввакума и Кутузова. Россия Огурцова и Юрия Евгеньевича Иванова».

* См. серию портретов работы Ю. Е. Иванова в «Посеве» № 6/70 г., стр. стр. 3 — 11. — Ред.

В этом Садо и Галансков сходились; сходились потому, что оба были подвижниками земли русской, как и Вагин, и оба Иванова, и Платонов, и Бородин, с которыми я так и не познакомился; и Драгош, и сподвижник его Иван Чердынцев, действительно прекрасный человек, не забегающий вперед, но всегда готовый прийти на помощь другу и просто человеку, даже незнакомому.

Я кланяюсь вам, Александр Гинзбург. Так судьба и не свела нас пока. Но я всегда слышу стук вашего сердца. Я не мыслю себе завтрашнего дня России и без вас, Андрей Донатович Синявский. Я верю, что прекрасные стихи напишет Коносов. А Юрий Иванович Федоров, очистившись от налипшего материализма, как от ракушек, будет возрождать новую Русь.

Я верю в русский народ. В великую миссию России.

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

И я верю. Все мы — верим.



Конечно, эта беглая повесть должна была бы быть лучше: и пошире, и поглубже, и поискуснее. Но я спешу. Больница для арестанта — это роскошь. А роскошью нас, политических, чекисты не балуют. Вот-вот выпишут, а в лагере ничего написать нельзя. Работа и сотни глаз. Мне же хотелось рассказать людям о том, какой сегодня политический лагерь в советской стране, показать его дух.

Пусть перед столетием Ленина, которое так широко отмечают коммунисты, человечество лишний раз узнает, что такое социалистическая демократия и к

чему приводит материализм. Мне хотелось бы, чтобы люди всего мира поняли, что это — чума, чума, завернутая в красивые лозунги и конфетные фантики.

Я спешу с этой повестью еще потому, что в наступающем году исполняется двадцать пять лет со времени окончания войны, а жертвы ее еще гниют в советских концентрационных лагерях. Да, они виноваты. Но кто из нас не виноват? И не дикарство ли держать в тюрьмах и лагерях арестантов по двадцать пять лет?

Я призываю к милосердию.

Государственные деятели всех систем, прокуроры, жандармы и судьи, я вас призываю к милосердию, напоминая, что есть Бог и перед Ним всем нам придется держать ответ.

Я спешу, зная, что только что закончила работу Генеральная Ассамблея, принявшая решение о праздновании двадцатипятилетнего юбилея организации Объединенных Наций. Я хочу, чтоб это высокое учреждение, к которому в трудный момент всегда прикованы взоры всех людей земли, выполнило свою миссию, касающуюся прав человека. Пусть пакет доброй вести с вашей юбилейной маркой, на которой будут слова «мир, справедливость, прогресс», дойдет и до нас!

Я спешу еще потому, что скоро Рождество Спасителя. Мне хочется эту повесть подарить Ему, посвятить Его Рождеству в год 1969.

Это не только мои слёзы, Господи! Это слезы нас всех. Прости нас, Отче! Прости. И наших гонителей прости!

Мордовия 1969, конец декабря.

ПРИЛОЖЕНИЕ: БИОГРАФИИ

¹⁵ БОГАЧ Николай Павлович родился в 1944 г. на Кубани в семье казака. В 1964-1968 гг. проходил воинскую службу в Кронштадте. В 1968 г. — студент Николаевского сельскохозяйственного техникума. Пытался в техникуме создать «Организацию борьбы за общественную справедливость». Весной 1969 г. Николаевским горсудом приговорен к 4 годам ИТЛ строгого режима, кассационный суд сократил срок до 3 лет. Срок отбывает в Мордовских лагерях. (См. «Посев. Спец. выпуск» 8/71, стр. 44).

¹⁶ ВАСИЛЯН Овик М. родился в 1936 г. Армянин. Беспартийный. Образование среднее техническое. Инженер Ереванского электролампового завода. Женат, имеет ребенка. Осужден Верховным судом Армянской ССР в феврале 1969 г. (дело рассматривалось при закрытых дверях) по ст. ст. 65¹ и 67¹ УК Армянской ССР (соответственно ст. ст. 70 и 72 УК РСФСР). Обвинен в том, что: клеветал на советскую действительность, отрицал равноправие наций в СССР, распространял клеветнические измышления о внутренней и внешней политике правительства Советского Союза; писал статьи, призывающие к созданию независимой Армении, распространил листовку «Больше молчать нельзя»; подготовил издание журнала «Во имя Родины» в количестве 343 экземпляров. Признал себя виновным. Суд приговорил его к лишению свободы на 6 лет ИТК строгого режима.

В лагере принял участие в забастовке протеста против убийства охраной 3 мая 1970 г. психически больного заключенного Баранова и гибели 5 мая лишленного врачебной помощи заключенного Лутбарша в пос. Барашево Мордовского концлагеря ЖХ 365-3. (См. о нем «Посев» 12/1970, стр. 28 и 1/1971, стр. 2; «Посев. Спец. выпуски» 6/71, стр. 32 и 9/71, стр. 48).

¹⁷ ГЮНАШЯН Ширак П. родился в 1939 г. Армянин. Беспартийный. Инженер-конструктор. Осужден в феврале 1969 г. Верховным судом Армянской ССР совместно с Василяном О. М. (см. выше) по тому же делу на 4 года лишения свободы. Приз-

нал себя виновным. (См. «Посев. Спец. выпуски» 6/71, стр. 32 и 9/71, стр. 48).

¹⁸ ХАЧАТРЯН Айк Караевич родился в 1920 г. Армянин. Образование высшее. Беспартийный. Холост. Художник-живописец художественного фонда СССР и Армянской ССР. Участник Второй Отечественной войны. Был ранен и награжден орденом. Оформлял ВДНХ (Выставку Достижений Народного Хозяйства). В 1968 г. осужден Верховным судом Армянской ССР по ст. 70 на 5 лет лишения свободы. (См. «Посев. Спец. выпуск» 9/71, стр. 47).

¹⁹ ФЕДОРОВ Юрий Иванович 1936 г. р., ленинградец, в прошлом — работник ленинградских райкомов ВЛКСМ, затем следователь МВД, потом капитан милиции (перед арестом работал уже снабженцем в одном ленинградском учреждении). Судим 24-26 июля 1969 г. Ленгорсудом по делу нелегальной организации «Союз коммунистов» (в числе 5 человек, работников комсомола, партийцев). Не признал себя виновным. Срок — 6 лет. 19 декабря 1969 г. был переведен в Мордовский лагерь 17-а в Озерном, после двухнедельного пребывания в следственном изоляторе Дубровлагеря, куда был помещен за участие в кампании протеста против содержания политзаключенных вместе с военными преступниками.

Находясь в лагере, участвовал в декабре 1971 г. вместе с другими заключенными в трехдневной голодовке в день Прав человека. Накануне, 9 декабря их друзья передали иностранным корреспондентам в Москве подписанное ими заявление на имя Комиссии прав человека ООН. В нем участники голодовки предлагают этой комиссии произвести расследование условий, в которых содержат политзаключенных в советских концентрационных лагерях. Копию своего заявления заключенные направили в Верховный совет, требуя амнистии для всех заключенных, осужденных на основании статей закона, противоречащих Всеобщей декларации прав человека и действующей советской конституции. (См. «Посев. Спец. выпуски» 4/70, стр. 11-12; 8/71, стр. стр. 33 и 43; «Посев» 1/72, стр. 10).

²⁰ ГРЕБЕНЩИКОВ Василий Федорович. «Хроника» № 21 1971 г. («Вольное слово», выпуск 1/1972 г., стр. 31) называет

БИОГРАФИИ

Гребенщикова Виктором Орестовичем и сообщает, что он — житель Алма-Аты, — был арестован 27 июня 1967 г. при попытке перебросить на территорию американского посольства машинописный текст своей работы «История коллективизации сельского хозяйства в СССР». 26 июня 1971 г. освобожден из Мордовских лагерей.

²¹ ИВАНОВ Юрий Евгеньевич, 1927 года рождения, ленинградец, сын художника Е. Сиверса, расстрелянного в 1938 г. и посмертно реабилитированного, внук бывшего министра путей сообщения Российской империи, также расстрелянного в 1938 г. и посмертно реабилитированного. В 1947 г. Юрий Иванов был впервые арестован будучи студентом Академии художеств — вместе с еще двумя студентами — за непосещение лекций по марксизму-ленинизму. Всех их на следствии избивали, один из них скончался во время следствия. Иванов и другой оставшийся в живых студент — оба были приговорены без суда Особым совещанием (ОСО) заочно к 10 годам лагерей. Через год пребывания в лагере 16-го управления Китойлага (ныне гор. Ангарск) Ю. Иванов, благодаря хлопотам родственников, был оправдан и освобожден. Окончил Академию художеств и стал членом ЛОСХ (Ленинградское Отделение Союза Художников).

В 1955 г. Иванова арестовали вторично и судили по ст. 58, обвинив в «распространении антисоветской литературы» и в «создании организации», члены которой не были обнаружены. Он был отправлен на строительство Куйбышевской ГЭС, где в то время на элеваторе и шлюзах работало около 8 тысяч заключенных, осужденных по 58-й статье. В 1956 г., когда в связи с «разоблачением» Сталина многих освободили, Ю. Иванов не был освобожден, так как «не раскаялся». Во время забастовки заключенных в Мордовских лагерях в этом же году возглавил забастовочный комитет. Вскоре после этого он бежал, при побеге был ранен и через неделю схвачен. За побег и забастовку получил новые 10 лет. Год пробыл во Владимирском изоляторе. В начале 1963 г. за «антисоветскую пропаганду в лагере» был снова осужден по ст. 70, ч. 2 и получил еще 10 лет — «неразменный червонец», по лагерному выражению. Из этого

срока три года провел во Владимирской тюрьме, затем два с половиной года в лагере особого режима (10 лагпункт Дубровлага). Летом 1968 г. был переведен на 11 лагпункт строгого режима. Затем, перед отсылкой на 17-а лагпункт Ю. Иванова продержали 4 месяца в Саранском изоляторе КГБ, где уговаривали раскаться и передать государству право на свое наследство, которое он должен был получить за границей. После этого Иванов снова был доставлен на лагпункт 17-а. Хотя у него здесь отобрали краски, художник продолжал творить, пользуясь случайным материалом.

Автопортрет Юрия Иванова и написанные им в лагере портреты других политических заключенных — самое убедительное свидетельство их несломленного духа, несмотря на продолжающиеся гонения их мучителей. Эти портреты напечатаны в «Посеве» № 6/70 г., стр. 3-11. В 1969 г. Юрий Иванов, в числе других заключенных, направил личное письмо одному из деятелей культуры с призывом выступить против позорной системы концлагерей.

В 1969 г. в Лондоне состоялась выставка рисунков Ю. Иванова, сделанных им в лагере.

По непроверенным сведениям художник Юрий Иванов досрочно освобожден из Мордовских лагерей. В последнее время он работал в больничной зоне л/о 3. Его теперешнее местонахождение неизвестно. (См. о нем: «Посев» 1/70, стр. 4; «Посев» 6/70, стр. стр. 3, 7-9, 12-14. «Посев. Спец. выпуск» 3/70, стр. стр. 14 и 46; «Вольное слово» 2/72, стр. 40).

²² КАЛНЫНЫШ Виктор Янович родился в 1936 году. Латыш. В 1960 г. окончил Московский педагогический институт. Журналист. Был членом ВЛКСМ. Арестован 18. 4. 1962 г. и обвинен в участии в «подпольной антисоветской националистической организации» «Балтийская федерация» по ст. ст. 66 и 67 УК Латвийской ССР (соответственно ст. ст. 64, 70 и 72 УК РСФСР). Приговорен к 10 годам заключения в лагерях. Приговор был опротестован сначала прокурором Латвийской ССР, а затем генеральным прокурором СССР, но остался без изменений. Против приговора протестовали также многочисленные представители интеллигенции Латвии, но безрезультатно.

БИОГРАФИИ

В лагерном отделении 17-а Мордовских лагерей Виктор Калныныш в феврале 1968 г., совместно с другими заключенными, участвовал в 10-дневной голодовке в знак протеста против наиболее вопиющих правонарушений лагерной администрации: в результате голодовки были удовлетворены некоторые требования заключенных. 19, 23 и 26 мая ряд заключенных, в том числе и Виктор Калныныш, обратились к генеральному прокурору СССР с заявлением-протестом по поводу голодовки А. Гинзбурга (причина — отказ Гинзбургу в свидании с женой). 2 июня эти же заключенные направили аналогичное заявление Президиуму Верховного совета СССР.

В связи с предполагаемым рассмотрением нового исправительно-трудового кодекса В. Калныныш обратился к депутату Верховного совета РСФСР Рамсулу Гамзатову с предложением лично ознакомиться с условиями жизни заключенных в лагерях. Подобные персональные письма были посланы и другими пятью заключенными различным деятелям культуры — с призывом «поставить прямо, мужественно и честно» вопрос о позорной системе лагерей. Авторы показывают, что в качестве основных мер воздействия к заключенным применяют голод, холод и издевательства, и существующее положение не регламентируется гласными законами.

В ноябре 1969 г. администрация 17 лаготделения не разрешила В. Калнынышу получить посылку от родственников, что вызвало голодовку протеста других заключенных. В начале декабря 1969 г. Виктор Калныныш, вместе с А. Гинзбургом, Л. Бродским и В. Платоновым, голодал в знак протеста против перевода во Владимирскую тюрьму Юлия Даниэля и Валерия Ронкина, за что был посажен в БУР. (См. о нем «Посев» 6/70, стр. стр. 8 и 12-14. «Посев. Спец. выпуски» 2/69, стр. стр. 32 и 40; 4/70, стр. 12 и 9/71, стр. 46).

²³ ЧЕРДЫНЦЕВ Иван Алексеевич родился в 1938 году. Образование — незаконченное высшее. Беспартийный. Женат и имеет дочь. Учитель школы рабочей молодежи (ШРМ) Тарутинского р-на Одесской обл., где директором был Николай Федорович Драгош (см. «Грани» № 80, стр. 160). В 1964 г. И. Чердынцев был судим Верховным судом Молдавской ССР по де-

лу создания «Демократического союза социалистов» и по ст. ст. 70, 72 присужден к 6 годам лишения свободы плюс 4 года, полученных в лагере. Его мать Ефросиния Нестеровна проживает в Казахской ССР, в г. Петропавловске, ул. Красина, дом 84.

В сентябре 1971 г. Чердынцев принимал участие в числе 14 человек в голодовке на 19 л/о Дубровлага в связи с немотивированным этапированием Александра Романова. (См. «Посев. Спец. выпуск» 9/71, стр. 47 и «Вольное слово» 2/72, стр. 13).

Гийом Аполлинер - поэт грустного веселья

Вождь французского футуризма. Родился в 1880 г., умер в 1918 г. Славянского происхождения (настоящее имя: Вильгельм Аполлинарий Костровицкий). Лучший сборник стихов — «Алкоголь» (1913). Кроме стихов, писал новеллы. Был также художественным критиком, открыл для Европы негритянскую скульптуру, был другом Дягилева и много писал о русском балете. В стихах его — сплав французских, германских и славянских ритмов, почему эти стихи легко поддаются переводам. До сих пор, насколько мне известно, по-русски было переведено немного его стихотворений (см. например, Бенедикт Лившиц. «От романтиков до сюрреалистов». Антология французской поэзии, изд-во «Время», Ленинград, 1934). Влияние его в Англии и Германии растет с каждым десятилетием. В Чехии имеются хорошие, почти полные переводы его стихов. Оказал заметное влияние на русских поэтов в Париже, начиная с Бориса Поплавского, особенно в сборнике Поплавского «Флаги» (романтическая ирония, заостряющаяся до сатирического преломления действительности).

* * *

Смысл стихов уже много раз утверждался как главная их ценность. И столько же раз отрицался как нечто несущественное. Обе точки зрения имеют за со-

бой некий призрак правоты. Отрицатели смысла правы в том, что существуют прекрасные стихотворения и целые поэмы, в которых вовсе нет никакого дискурсивного развития, как, например, у Рембо. Утвердители же смысла правы в том, что несомненно неглубокий человек не сможет никогда написать действительно хорошего стихотворения, иначе говоря, — в стихотворение как-то переходит глубина его написавшего, которая и является его смыслом. Но несомненно и то, что некоторые большие поэты не были очень умными людьми. Во всяком случае, рациональный смысл их стихов сводится к крайне малому и никогда бы не создал ни их влияния, ни любви к ним. Но чему-то они всё же научают и об этом чём-то мы попытаемся говорить.

Ум есть способность к широким обобщениям и схемам, сразу приводящим в порядок огромное количество фактов, взаимная связь или тождество коих до них была неизвестна. Так, например, Гегель сразу систематизировал огромное количество исторических фактов («Философия истории») открытием преваляющей роли экономики в истории. Такими общими суждениями совершенно не пользуется лирическая поэзия, она скорее говорит о строго индивидуальном: «мне показалось...», «мне было...», «мне стало...».

Мне кажется, что стихотворение есть загадочная картина, которая и для самого автора предстает как нечто объективно-неясное. Ее ему следует еще понять и раскрыть. Классическое стихотворение часто делится на две части: в начале — загадка, в конце — попытка ее истолковать. Истолкование есть приведение чего-то более видового к чему-то более родовому, оно обычно начинается на «так», тогда как «тело» стихотворения (классического) начинается часто на «как». В сохранившихся черновиках Пушкина или Тютчева это бросается в глаза. Поэт твердым почерком, как под диктовку, записывает: «Как океан объемлет шар земной». Дальше следуют перечеркнутые строчки, в которых можно ра-

зобратъ проекты истолкования «даром полученного» символа, например: «Так... душа... всегда объята снами...» и т. д., пока внутренний слух не подскажет, что верное истолкование найдено. В классическом сонете это разделение на картину и истолкование введено в правило: первые восемь строк — загадка, последние шесть — объяснение.

Кроме того, лучшие поэты были наделены способностью повышать в конце еще на одну октаву свое тайноведение и как бы подниматься над своим стихотворением, «разрешать» его в некоем откровении нового его «смысла». Это свойство поэтов золотых эпох — заканчивать стихотворение новым мощным взмахом крыльев. Аполлинер, «серебряный» поэт, этого дара не имел, как не имел его Гейне, Блок и много других очень больших поэтов. Концы их стихотворений удивляют, поражают, но не возносят в экстазе. Не об этом ли думал Сергей Дягилев, глубоко чувствовавший всякое искусство, когда он советовал Аполлинеру: «Я хочу, чтобы ты меня всегда удивлял... понимаешь? Удивляй меня...»

Если гении поэзии пишут сперва загадочную картину, а потом могут сами раскрыть ее смысл как бы в «экстазе высшего измерения», то стихи «серебряных» поэтов можно скорее сравнить с их снами, тайный смысл коих может быть многообразен и не раскрыт ни для них самих, ни для их читателей. Да они часто и начинают сборники своих стихов с претворения виденного ими во сне. Тогда концом стихотворения явится просто пробуждение, что не замечается молодыми их читателями, но что чуть разочаровывает пожилых, которые, перечитывая на склоне дней Гейне, думают: «В двадцать лет я переоценил его в моих восторгах... Хотя он все-таки очень хороший поэт».

ДВОРЕЦ

(По-видимому, это — запись сна из периода нищеты и голодовки Аполлинера. Помещено в самом начале сборника «Алкоголь». Знатоками поэзии ценится высоко, несколько лет назад разбору его была посвящена целая серия лекций в Сорбонне, передававшаяся затем по радио).

Дворец Роземонды. В ночные виденья
Босыми ногами уводят мечты.
Дворец королевский: балконы, ступени,
Индийские всюду кусты.

Иду. Раскрываются воспоминанья.
Смеюсь над концертом лягушек вдали.
Стоят кипарисы у вод в ожиданье,
А звезды глядят в малярийный залив.

На острых коленях у прелюбодея,
В расцвете весны, опустивши атлас,
Сама Роземонда сидит не краснея
И щурит киргизский загадочный глаз.

Моих размышлений была ты царицей,
Тебя я встречал наяву и во сне.
Мережились всюду восточные лица,
Восточный загар на плечах и спине.

Довольно. Тук-тук. Полусумрак лиловый,
Качается лампа алмазом зари
И запах еды долетел из столовой,
Где двадцать супов, будто двадцать урин.

Порочный король. Обжираются гости.
Мясные блюда поворята несут,
Но мыслей голодных обглоданы кости,
У мыслей мороженных мамонтов вкус.

И вся эта снедь проклинала, вопила,
Кошунствовал бычий разрубленный зад.
Что было потом, передать я не в силах.
Довольно, всё к черту, назад.

Сон, увиденный на самом деле или нет, составляет тело таких стихотворений. Такой сон, запутанный или простой, есть развернутое сравнение или образ. Поэт хочет передать свое особенное ощущение радости, или печали, или любви, но не находит в языке ничего, кроме количественных прилагательных, например, горячая, слабая, сильная. Как будто не существует столько же любвей и печалей, как и людей. и не есть ли каждая любовь каждого человека неповторима и моментами разлита на всё, хотя бы на городской пейзаж, с мостами и фонарями. И каждый момент этой каждой любви ничем не похож на другой...

Итак, в погоне за передачей качества ощущения — тогда как прилагательные говорят почти исключительно о количестве, или же о самых грубых моментах качественного различия (страстная, тихая, нежная, например) — поэт пытается сравнить свою любовь с чем-то знакомым и ему, и читателю и вызвать в обеих душах то же ощущение (какое — неизвестно). Так рождаются, например, неожиданные сравнения в стихотворении Аполлинера «Снег». Или влюбленный говорит: «Как красив этот зажегшийся газовый фонарь на мосту под дождем», а она отвечает: «Да, я каждый день здесь прохожу и никогда не замечала». И тяжелый мост Мирабо становится гением, покровителем их любви и переходит в его стихи.

НА МОСТУ МИРАБО

Воды реки под мостом Мирабо протекали
И любви нашей воды.
Нужно ли помнить о вас, промелькнувшие годы?
Радость всегда возвращалась после печали.

Ночь проходила, час отбивался.
Дни исчезали, я не менялся.

Руки в руках держа, на мосту мы стояли.
А внизу глубина.
Там под мостом наших рук в океан уплывали
Волны реки, нам казалось — им не было дна.

Так уходили любви беспокойные волны,
Не торопясь в океан.
Дни убегали, печалью таинственной полны,
Укрывал нас надежды туман.

Дни исчезают, проходят недели,
Это времени смена,
Но любви мы тогда задержать не сумели.
Под мостом Мирабо протекала глубокая Сена.

Часов ночных раздавался звон.
Я тот, что прежде. Сменился сон.

СНЕГ

Архангелы небесных сфер,
Один одет, как офицер,
Другой одет, как повар,
И льются песни хором.

Прекрасен, офицер, твой голубой мундир.
На смену Рождеству весна согреет мир.
Медалью огненной украсят это небо —
Медалью Феба.

О повар, пух гусей, ощищенных тобой,
Летит сквозь сумрак нежный.
Но в этот вечер снежный,
Любовь моя, зачем ты не со мной?

Но вызывание и сочетание этих неожиданных, удивляющих образов опять-таки недостаточно передает особый оттенок ощущения. Тогда к нему присоединяется другое, для того, чтобы все эти образы исчерпали сложность ощущения, какое они призваны «вызывать» (но не рассказать). Так у Аполлинера рождалась потребность целых длинных стихотворений в прозе, перемежающихся настоящими стихотворными строфами в тех местах, где лирический напор сам собой перерастает ритмическую прозу, пока созерцание огромной сложной картины не вызовет в душе читателя новый комплекс чувств, мыслей, открытий, передать которые не было целью поэта за невозможностью всего рассказать. И это означает, что стихи и проза «серебряного» поэта ближе к музыке, чем у классиков.

ДОМ МЁРТВЫХ

Этот дом вытянулся около кладбища. В нижних окнах были зеркальные стёкла, как в магазине, и сквозь них можно было видеть восковые фигуры. Они стояли прямо, не улыбались, лица их хранили странное, застывшее выражение.

Уже прошло пятнадцать дней, как я приехал в Мюнхен, но только теперь случайно забрёл на это кладбище. Я ощутил тоску от созерцания всей этой буржуазии, выставленной напоказ и наряженной по-праздничному.

Внезапно, быстро, как воспоминание, во всех витринах у всех восковых фигур стали зажигаться глаза, и одновременно в небе что-то зазвучало. Это была первая проба трубы архангела, предсказанная в Писании. Земля из шара превратилась в огромную равнину, как до Галилея, и на ней стали появляться различные мифологические персонажи. Ангел разбил алмазом все стёкла, и тогда мертвецы сошли со своих мест, вышли и окружили меня. Их лица сперва сохраняли отблеск потустороннего мира.

Но скоро лица и движения стали менее зловещими, и небо и земля, потеряв свою призрачность, вернулись к нормальному состоянию. Мертвые смеялись, и каждый из них радовался, наблюдая, как движется его тень в этот солнечный полдень. Я всех пересчитал — их оказалось сорок девять: мужчин, женщин и детей. С каждым мгновением они становились всё красивее и смотрели на меня с такой сердечностью, с такой нежностью, что я тоже вдруг почувствовал к ним прилив дружбы. Тогда, неожиданно для себя, я пригласил их всех на загородную прогулку. И мы удалились от их дома и пошли, взяв друг друга под руки и распевая воинственную полковую песнь «Ура, простились нам грехи» и другие в таком же роде.

Мы шли через город. Нам стали встречаться их родные и друзья, и они тоже присоединялись к нам. Все были так жизнерадостны, совсем здоровы, и никак нельзя было отличить живых от мертвых.

За городом в нашу компанию вошли еще два солдата легкой кавалерии, они срезали своими ножами камыш у ручья и делали дудки для детей. И вот начался сельский бал, и пары пустились танцевать, руки на плечи, под звуки струнного оркестра.

Они не забыли танцев, эти покойники, ни того, как пьют вино. Звук колокола всякий раз оповещал, что открывается новая бочка. Одна из умерших молодых женщин, сидевшая несколько в стороне у куста барбариса, позволила живому студенту стать на колени у ее ног.

— Я буду ждать вас десять лет, двадцать, если надо, — говорил он. — Ваша воля будет моей.

— Я буду ждать всю вашу жизнь, — отвечала она.

Дети из этого и из того мира кружились в хороводах и пели песни, лирические, хоть и нелепые, что является самой древней поэзией человечества. Студент дал мертвой обручальное кольцо:

— Вот зарок моей любви, мы теперь жених и невеста. Ни время, ни разлука не заставят нас забыть обещание. И когда-нибудь мы сыграем веселую свадьбу, будет много цветов повсюду и в ваших волосах, и много гостей, и проповедь в церкви, и длинная речь за обедом. И музыка... музыка.

— Наши дети, — отвечала невеста, — как они будут красивы! Я вижу их перед собою (увы, сломалось вдруг кольцо), волос сиянье золотое, у каждого твое лицо. Они как ангелы прекрасны, у каждого небесный взгляд, как у тебя глаза их ясны, а мир вокруг — как этот сад. — Увы, кольцо разбито было, завяла белая сирень, и дуновение чуждой силы вдруг одолело ясный день.

Когда музыканты ушли, мы двинулись дальше. На берегу озера мы забавлялись, бросая плоские камни, которые прыгали по воде. Лодки стояли на причале, их отвязали, и вся наша компания заняла места. Некоторые из умерших взялись за вёсла и гребли, не хуже чем живые.

В той лодке, где я сидел за рулем, один из умерших разговаривал с живой женщиной. На ней было желтое платье, черная кофта с голубыми лентами и серая шляпа, украшенная пером, слегка помятым.

— Я люблю вас, — говорил он, — как голубь любит свою подругу, как ночной мотылёк любит пламя свечи.

— Слишком поздно, — отвечала живая. — Забудьте эту запретную любовь. Я замужем, смотрите, вот блестит кольцо... Мои руки дрожат, я плачу, я бы хотела умереть.

В это время лодки подошли к тому месту, откуда можно было громко задавать вопросы и эхо сейчас же давало ответ. Об этом нас предупредили солдаты. И хотя вопросы оказались самые сумасбродные, зато ответы получались настолько кстати, что все надрывались от смеха.

Мертвый говорил живой женщине:

— Над нами закроются воды,
Навеки мы будем вдвоем
И мира забудем невзгоды...
Ты плачешь? Скажи мне, о чем?

Когда все вышли на берег, оказалось, что пора возвращаться. Влюбленные шли теперь парами, обнявшись, немного в стороне. Живые искали мертвых, мертвые звали живых. Начинало темнеть.

Куст можжевельника порой
Казался привиденьем.
Носились дети над рекой
И прятались в растенья.
И на свистках из бузины
Играли нам ребята,
И забавлялись, как они,
Тирольские солдаты.
Перекликались словно с гор
И будто бы с похмелья,
А рядом — тихий разговор
И грустное веселье.

В городе наша толпа стала уменьшаться. Все говорили: До свиданья! До скорого! До завтра! Многие заходили в пивные. Некоторые из живых покинули нас перед собачьей мясной, где они обычно покупали пищу на ужин.

Скоро я остался один с покойниками, которые шли теперь прямо на кладбище. Я немного отстал и, придя под Аркады, увидел их — каждый чинно опять занял свое место и все как утром, в парадных одеждах, ждали за витринами погребения.

Они не подозревали о том, что произошло. Но живые помнили всё, и это было для них большой удачей.

Да, это было такое достоверное счастье, что они уже не боялись его потерять. С тех пор они жили так достойно, что те, кто еще вчера смотрели на них, как на равных себе, или даже как на низших, — поняли силу их духа и стали удивляться их величию. Потому что нет ничего, что бы так возвышало, как если кто полюбит умершего. Такой пребывает в чистоте, и иногда, в недоступных для других горных ледниках памяти, ему случается соединить свое личное с тем, о ком он вспоминает.

И человек запасён силами на всю жизнь и больше ни в ком не будет нуждаться.

Поэзия создается из музыки, философии и живописи, то есть от соединения ритма, символа и образа.

Первое поэтическое ощущение — скрытые поиски жизни более полной, более разнообразной — есть как бы любовь к описыванию: поиски моря, движения, волнения, стихии, подхватывающей, уносящей (это «живые» у Аполлинера). Второе поэтическое ощущение есть поиски неподвижности, созерцаниядвигающихся вещей, исходящих и возвращающихся, проходящих мимо «Аркад и витрин» «Дома Мёртвых». Солнце может быть или отравой или благословением. Оно то живит, то убивает, то усыпляет, то спасает, в зависимости от принятия или непринятия ежесекундной смерти и «основной неудачи» мира.

«Восковые фигуры за зеркальными окнами» чувствуют иногда, что вот что-то с ними происходит, точно наступил праздник, и они переживают что-то бесконечно ценное, но что именно, — сказать не могут. Причем иногда с силой физического припадка приходят к неким состояниям особого содержательного волнения, бесконечно сладостного... И тогда у поэта вдруг слагается первая строчка, которая потом может занять и не пер-

вое место, а чаще в середине, иногда в конце стихотворения, то есть с каким-то особенным распевом сами собой располагаются слова. При этом они становятся как бы «магическим стеклом» Евгения Онегина, как иногда в одной музыкальной фразе запечатлевается целая мертвая весна в Далмации или целое Рождество в снегах в России. У Аполлинера есть целое стихотворение, сложившееся, по-видимому, сразу, где как будто передана вечность мгновения, объединившего в себе весь опыт жизни и мироздания, начало и конец, весну и осень, любовь, печаль и мудрость. Эту его «Осень» часто читают во Франции — в театре и по радио, причем читать ее нужно как бы одним дыханием:

ОСЕНЬ

В туман уходил косолапый старик
И медленный вол по дороге осенней
Где прячутся бедные крыши селений
Где льется напева томительный крик
Старинная песнь о любви и измене
Про сердце больное кольцо и огни
И как умирали июльские дни
В туман уходили две серые тени

«...Поэт хочет спасти от исчезновения то мгновение всеобъемлющей вечности, о коем каждый из нас знает, забывает и вспоминает, когда оно снова возвращается. Поэт понял, что это можно только через музыку, то есть используя магическую «эвокационную»* силу музыки, подобную заклинанию, потому что иначе рассказать про то, что он почувствовал, невозможно».

* Каждая вызывает что-то из подсознания или надсознания.

«...Область лирической поэзии есть область особого рода беспричинных переживаний, которые Рэскин называл «тихими чувствами», в отличие от громких чувств страстной любви, ревности, гнева, зависти. Но и эти более ясные чувства тоже рассказать трудно. Что можно сказать прозаическим языком о ревности? Что она была более или менее сильна, то есть пытаться описать только ее количество. Но каждая ревность каждого человека имеет еще свое особое качество — и в каждую минуту своего течения еще особый дополнительный оттенок. Язык же так беден словами, что, как на это уже жаловался Шопенгауэр, невозможно рассказать разницу между кислым и горьким...» (Борис П о п л а в с к и й. «Из дневников». Париж, 1938).

Не нужно думать, что Аполлинер был только «футурист», сверхмодерный поэт. Да, он писал в эпоху, когда снимались новые пласты с подсознания (что случалось в каждую эпоху; так Гамлет, во всем сомневающийся, не похож на предшествующих ему принцев, а Дон-Кихот не похож на тех рыцарей, кому он хотел подражать). Но, как заметил еще Дягилев, знавший и любивший XVIII век, в поэтическую структуру многих стихов аполлинеровского «грустного веселья», перемешанного с дозой эротизма, перешло немало от XVIII века, в том числе от русского. Последнее не случайно, и этому способствовал сам Дягилев хотя бы тем, что он воскрешал тот век в своих балетах. Но, кроме этого, остались свидетельства, что Аполлинер знал от того же Дягилева кое-что пригодившееся ему из русской поэзии XVIII столетия, во всяком случае знал «Весну» Тредиаковского и «Бычка» Державина.

Тредиаковский был первый из русских поэтов, который почувствовал и воспел очарование Парижа и Сены: «О, пресветлый воздух сенский, не грозен тебе

дух деревенский» (то есть грубый, не утонченный, такой, который норовил сломать хрупкие поросли цивилизации). Это было начало нашей лирики, первый убогий стебель ее. По своем возвращении в Петербург Тредиаковский должен был перейти на социальные темы, созвучные его эпохе: «Если ж кто польстится строй ввести обманной, бойся, прелестниче, самодержцы Анны...» Сенский воздух оказался побежденным. Однако и на родине сохранилась способность у Тредиаковского удивлять читателя всяческими фантастическими неожиданностями (может быть, неумышленными, но неумышленная удача ценна в искусстве не меньше, чем преднамеренность). Мы знаем, что его знаменитая «Весна», которая приводила в восторг русских гимназистов стольких поколений, восхитила и Аполлинера своим калейдоскопом лукавств.

Элефанты и леонты (слоны и львы)

И лесные сраки (сороки)

И орлы, оставя монты, (горы)

Учиняют браки.

О, колико се любезно,

Превыспренно, взраченó (торжествующе славно)

Нарочито преполезно

И сугубо смаченó — (вкусно)

Стрекочущу кузнецу (кузнечнику)

В зленом блате сущу, (болоте)

Нарочиту червецу (умному, себе на уме червяку)

По злакам ползущу.

БЫЧОК

Зрел ли ты, певец Тиийский,

Как весной в лугу «бычка»

Пляшут девушки российски

Под свирелью пастушка?

Как склонясь главами ходят,

Как ногами в лад стучат,
Тихо руки, взор поводят
И плечами говорят...

(Державин)

Этот «Бычок» вызвал у Аполлинера желание поехать в Россию поискать, танцуют ли еще там так (Дягилев уверял, что да), но этот проект не осуществился, как и многие другие. Музыка же эта нашла свой отклик в «Алкоголе». А оттуда она снова откликнулась в стихах Бориса Поплавского и Александра Гингера. Так одно творчество прорастает из другого*.

Немецкие влияния. В 1901 году Аполлинер жил в Германии, в прирейнских провинциях. Влияние на него немецкого романтизма, которое так чувствуется в «Доме Мёртвых», самим поэтом подчеркивается в том цикле из девяти стихотворений сборника «Алкоголь», который он озаглавил «Рейнские поэмы». Сто лет тому назад Жерар де Нерваль, предшественник Бодлера и родоначальник всей великой новой французской поэзии, доказал, как можно соединять в новое и мощное французский и немецкий романтизм. В «Рейнских поэмах» этот опыт продолжен и подтвержден. Вот две из них.

КОЛОКОЛА

Мой цыган, о друг мой верный,
Ты слышал колокола?
Значит, знают все в деревне,
Что с тобою я была.

*) В «Алкоголе» есть (стр. 25) забавное стихотворное описание картины Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», под этим же заглавием. Дан «текст» этого письма, весьма непристойный. — Н. Т.

Колокольни увидали
Изо всех окрестных сёл
И сосёдам рассказали,
Что ко мне ты ночью шел.

Значит, завтра Катерина,
Пьер, Урсула и Анри,
И Марго, моя кузина,
И сапожница Мари

Усмехнутся, засудачат.
Кто-то мне тогда поможет?
Ты далёко. Я заплачу.
Я тогда умру, быть может.

ЁЛКИ

В остроконечных колпаках
И в длиннополых кожихах,
Как старцы астрологи,
Склонились ёлки с высоты
Над Рейном, там идут плоты,
Там их сестёр уводят.

Все семь искусств известны им
И могут передать другим
 Науки дисциплину.
И между ними есть поэт,
Он светит, будто семь планет,
 Над Рейном и долиной.

Есть музыканты среди них,
Рождественский старинный стих
 Там слышен за метелью.
Хор белых ангелов с небес
Зимой слетает в темный лес,
 Весной здесь только ели.

А летом древние жрецы,
Или монахи чернецы,
Иль старые девицы.
Порой в осенний бурелом,
Когда шумит на небе гром,
Вздыхает ёлка и ложится.

Всего в «Алкоголе» пятьдесят одно стихотворение.
Вот три последние:

ОТЕЛИ

Отдельный номер.
Живи как крот.
Пока не помер,
Плати вперед.

Мадам в сомнение:
Внесу ль по счету?
Спираль ступеней
И я, как штопор.

Сосед в ермолке,
Угрюмый рак,
Он курит горький
Морской табак.

.

Вокруг столичный
Отельный сон,
Разноязычный
Вавилон.

Запрёмте двери
На засов.
Пусть каждый верит
В свою любовь.

Следующее стихотворение посвящено Анне, молодой англичанке, в которую поэт был влюблен в Германии. Они читали вместе книгу Томаса де Квинси: «Исповедь человека, который ел опиум».

ОХОТНИЧЬЯ ТРУБА

История была трагичной
И пасмурной, как лик тирана,
Обыденной, не патетичной,
Но ни одна деталь романа
Еще не стала безразличной.

Томас Квинси, он опиум пил,
Яд целомудренно-медовый,
О бедной Анне всё грустил...
Напрасно, никогда вы снова
Не встретитесь, поет судьба.

И замер в заросли еловой
Мой зов, охотничья труба.

Несколько лет назад в газетах было сообщено, что Анна (Аполлинера, а не де Квинси, той истории больше ста лет) еще живет где-то в Америке. Она была очень удивлена, узнав, что ее поклонник 1901 года, студент, перед смертью стал знаменитостью и что вдохновленные ею стихи, которые она давно забыла, переведены на все языки (в «Алкоголе» таких стихов, во всяком случае, десять).

Заключительное стихотворение, очень длинное, носит заглавие «Вандемьер». Напомню, что так назывался первый месяц республиканского календаря во Франции (от 22 сентября до 21 октября). От латинского *vindemia*, сбор винограда.

Я даю сокращенный перевод «Вандемьера», в подлиннике в нем 174 строки. Это гимн освобождению человека от вражды и разделения. Начинается он с подражания древним, первым лирикам человечества, которые начинали так: «О, будущие люди, я жил во дни фараона такого-то...». Кончается гимном торжества всемирного братства, где каждый сохранит свой неповторимый голос в созвучии общего хора, поющего «Осанну». В некоторых строках «Вандемьера» не трудно найти отзвуки Евангелия.

ВАНДЕМЬЕР

Будущие люди, вспоминайте обо мне.
В тот век, когда я жил, умирали короли.
Они проходили, молчаливые и грустные,
И, трижды могучие, шли прямо на небо.

.

Как прекрасен Париж в конце Сентября!
Золотой виноградник сиял урожаем
Фонарей, озарявших и землю и небо.
Опьяненные птицы питались гроздьями
Многих лоз и созвездий всего мироздания.
Раз я в сумерки шел по пустынным бульварам
Рядом с Сеной, и вдруг мне послышался голос.
Пел он грустную песнь и замолк в ожиданье,
Чтоб другие напевы достигли Парижа
Из других городов и от дальних народов.
Долго слушал я новые песни и зовы,
Что в ночи пробудило парижское пенье.

.

Меня жажда терзает, я пью города
Этой Франции светлой, Европы и мира.

Я давно уж вскормленный парижской лозою
Стал трудиться в садах виноградарей новых.
Там все лозы растут к небесам и, о чудо,
Они песни поют, и сады во вселенной
В переключку вступают с лозою Парижа.
Новый хор, что возник среди ночи, внезапно
Громовыми разливами землю окутал.
Итальянского солнца гремели раскаты
И туман грохотал от Балтийского моря.

.

Дружный хор возрастал, в той гармонии новой
Каждый голос звучал по-иному, и каждый
В совершенном ладу находил свое место.
В океан многозвучный все реки сливали
И восторги и боль урожая народов,
Всех народов, похожих на нас и различных.
Как я жаждал испить эти чаши вселенной!
Вспоминайте меня, я был горлом Парижа
И я выпью еще, алкоголик в харчевне.

.

Слушайте же песни мирового алкоголика...
А ночь Сентября медленно светлела,
Звезды угасали, новый день рождался.

От редакции: переводы стихотворений Г. Аполлинера на русский были опубликованы в книге «Французская лирика 19 и 20 веков» (под редакцией Б. Лившица), Л., 1937; в журнале «Иностранная литература» № 1 за 1961 г.; а также вышли отдельным изданием в серии «Памятники мировой литературы», изд-во «Наука», в 1970 (?) г.

Судьба русской столицы

Вопрос о том, как сохранить традиционные ценности старого городского ядра в бурно растущих столицах XX и XXI века волнует не одну Россию, и интересы охраны облика исторических районов везде в какой-то мере отражаются в градостроительной политике, хотя и с переменным успехом.

Нью-Йорк, первым вставший на путь полной централизации высотной застройки, первым уничтожил свой исторический центр: в городе, основанном в 1626 году, от XVII и XVIII века не осталось почти ничего, и даже архитектурно ценные здания начала XX века продолжают сноситься вопреки новоучрежденной Комиссии по охране памятников. Лондон, несмотря на значительно более широкие полномочия градостроительных властей и официальную политику децентрализации (впрочем, весьма шатко обоснованную) не нашел последовательных решений, и новая высотная застройка часто весьма грубо вторгается в исторические ансамбли, даже такие значительные, как собор св. Павла. Париж, созданием нового центра деловых зданий в Дефанс, на ничем не примечательной бывшей окраине города, пожалуй, ближе всего подошел к решению вопроса, но рост новых зданий в других районах и разительное изменение городского силуэта не минует и его: к худу или к добру, но контраст между вступающим в свои права XXI веком и тремя десятками предшествующих веков слишком разителен и не может не отразиться на всей ткани города, если этот город не заповедник и не забытая заводь.

Принципиальный спор между охранителями и новаторами разгорелся еще в начале двадцатых годов: никто иной как Ле Корбюзье предлагал снести старый Париж и заменить его небоскребами в садах «лучистого города». Русские конструктивисты, возможно, не заходили так далеко (Лисицкий предлагал строить нечто вроде мостов высоко над старым городом), но охрана истории их также мало интересовала. Теоретическим спорам о

будущем положили конец: на западе — экономический кризис, в России — сталинские декреты 1932 года. Ликвидация независимых творческих объединений и стрижка всех под гребенку новооснованного Союза советских архитекторов повлекла за собой полный разгром современной архитектуры в России и принудительное насаждение ложноклассического украшательства под предлогом «освоения архитектурного наследия». Казалось бы, что поворот в сторону реакции мог способствовать хотя бы сохранению подлинных памятников «наследия». Но получилось хуже: борясь с любыми творческими проявлениями новаторства в архитектуре, официальная градостроительная политика одновременно усвоила его же пренебрежение к старине: сохранению подлежали лишь отдельные — «показные» — памятники. В результате между 1930 и 1940 годами Москва потеряла больше средневековых зданий, чем любой другой город мира. Сколько здесь было просто незрелого инженерного азарта («улица *должна* быть прямой и широкой»), а сколько сознательной воли стереть следы религиозно-национальной культуры сказать сейчас трудно. Инженерный азарт Второй мировой войны затмил любительские взрывы строителей первых пятилеток.

Мировой экономический подъем второй половины нашего века, рост автомобилизации и «конторской промышленности» в небоскребах центральных городов снова поставил на повестку дня вопросы, поднятые в двадцатых годах. Однако перед лицом реальности споры о городской реконструкции перестали быть принципиальными, и наметился какой-то компромисс: что-то разрушить, что-то сохранить. В духе такого прагматизма битвы и на Западе, и в России ведутся скорее за отдельные здания: сохранить Лез Алль (разрушены); сохранить Зингер Билдинг (разрушен); сохранить церковь Зачатия Анны (сохранена). Вся разница, конечно, в том, что на Западе эти битвы ведутся открыто, и печать чаще всего на стороне охранителей; в России общественному давлению приходится принимать более скрытые формы, и отзвуки его в печати глухи и закамуфлированы. Стремясь возместить это отсутствие гласности, журнал и печатает нижеприводимую статью.

Статья заимствована из выходящего в Самиздате рукописного журнала «Вече» № 1 (от 19 января 1971 г.) и является своеобразным откликом на статью М. Посохина «Будущее столицы» в журнале «Архитектура СССР» (февраль 1970 г.). С политическим направлением резко «неославянофильского» журнала отнюдь не обязательно соглашаться, как не следует отрицать и наивность многих положений автора: недооценку объективных сил экономического роста и переоценку роли архитектора, который при любом режиме был, главным образом, оформителем программы заказчика, был ли заказчик «феодал», «капиталист» или государство. Впрочем, не подлежит сомнению, что власть архитектора в СССР в каких-то сферах больше власти его западного коллеги. В подтексте статьи звучат страхи перед «жидо-масонским» заговором против русской культуры, которые, если быть снисходительным к автору, то просто смешны. Идеал автора — полная консервация и реставрация древней Москвы — нереален в наше время при любом режиме.

Тем не менее статья представляет собой ценность как целостной постановкой вопроса, так и большим фактическим материалом. Статья ставит интересные практические вопросы — о последствиях прорубки дополнительных радиусов через центр города к Кремлю и о последствиях повсеместного повышения этажности в этих исторических районах. Статья дает примеры успехов и поражений в борьбе за сохранение памятников за последние годы, примеры малоизвестные вне кругов специалистов, и, наконец, блестяще освещает административные приемы советских архитектурных учреждений. По этим причинам она заслуживает внимания читателя. Статья печатается с небольшими редакционными сокращениями, обусловленными, главным образом, плохим состоянием дошедшего до редакции экземпляра.

Б. Сергеев

«Никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения».

Генерал-фельдмаршал фон Рейхенау.

На последнем съезде советских архитекторов произошло два события, определивших судьбу древней столицы России на ближайшие годы: первое — награждение Московского отделения Союза советских архитекторов орденом В. И. Ленина, второе — присуждение лауреату государственной премии, депутату Верховного совета СССР, главному архитектору города Москвы Михаилу Васильевичу Посохину звания народного архитектора СССР.

Не станем спешить с поздравлениями московских зодчих и их нынешнего вождя, обратим лучше свое внимание на последствия этих наград для самой Москвы. Прежде всего совершенно ясно полное одобрение проводимой и проводящейся ныне градостроительной политики. Второе — поощрение на дальнейшее проведение этой политики.

Разберем же градостроительство Москвы за годы советской власти, ее результаты и заглянем в будущее Москвы. Всё познается в сравнении. Поэтому еще раз напомним, что такое Москва как столица России и СССР и просто как город.

Ненормальное положение с архитектурной критикой привело к тому, что архитекторы прячутся за спину государственных органов. Они сваливают на партийные и хозяйственные организации всю ответственность за свои действия, хотя совершенно очевидно, что когда те или иные архитектурно-градостроительные работы, осуществляемые в «соответствии с постановлениями партии и правительства», подвергаются критике, то критикуются не постановления партии и правительства, а именно несоответствие между этими постановлениями и произведенными работами.

Данная статья впервые за много лет ставит ключевые вопросы градостроительства Москвы.

I. СТОЛИЦА РОССИИ

Москва — воплощение русской истории и культуры. В XVII веке в Москве было 932 церкви, а если считать с приделами и часовнями, то их было 1714. Из этого числа — 1114, то есть 65% — церкви, построенные по обету, в ознаменование побед над врагом. Военские обетные церкви делились по своему расположению на два вида: 1) церкви в военных слободах (участвовавших в данном сражении) и 2) церкви, построенные в наиболее «чтимых» местах столицы (Кремль, Красная площадь, Китай-город, монастыри и пр.).

Храмы в честь побед составляли группы, посвященные одной войне. И каждая такая группа имела свой центр. Так, группа церквей и монастырей, построенных в ознаменование победы на Куликовом поле, — церковь Рождества Богородицы на Сенях (в Кремле), Вознесенский монастырь (в Кремле), Рождественский монастырь, Высоко-Петровский монастырь и церковь Всех Святых на Кулишках, — имеет общий центр — церковь Всех Святых на Кулишках, — поставленную в память погибших на месте клятвы русского войска перед походом.

В XVI веке был создан общий центр памятников побед — собор Покрова на Рву — храм Василия Блаженного, величайшее произведение русского архитектурного гения.

Градостроительный памятник воинской славы в целом состоит из военных слобод, с их улицами, переулками, церквами и кладбищами (эти слободы можно назвать градостроительной средой) — это памятники жизни героев русского войска; групп памятников в честь побед над врагами; и центра — Красной площади с собором Покрова на Рву.

Весь комплекс служит своеобразным пьедесталом для градостроительного памятника созданию единого Русского государства. Этот памятник имеет, подобно

первому, тройную структуру. Его градостроительной средой являются слободы «лучших людей», переселенных в Москву из присоединенных русских земель (в основном из столиц), с обетными церквями, построенными в память присоединения. «Сердцем» структуры является система присоединенных земель и их монастырей: подворья занимали почти весь Китай-город и часть прилегающей к Китай-городу территории Белого города.

Центр памятника — Успенский собор Кремля, в нижнем ряду иконостаса которого помещались чтимые имена главных городов русских земель и иконы — знамена войск.

Слободы «лучших людей» олицетворяли всю Русь, объединенную в Москве, подворья — общерусское войско, собравшееся у своих святынь — знамен.

Этот памятник имел продолжение в виде градостроительной структуры, посвященной образованию Российской Империи. В Москве мы найдем татарские, грузинские, армянские, малороссийские и другие слободы, подворья присоединенных стран и храмы в память этих событий. Центр этой структуры — тот же Успенский собор. Поэтому мы не можем совершенно отделить памятник созданию единого Русского государства от памятника формированию Российской империи, так как второе невозможно без первого и органически его продолжает.

Частью этого памятника являются системы, отражающие русское государственное устройство и международные отношения России.

Первая состоит из системы великокняжеских и царских дворцов, здания приказов, жилья крупных сановников, государственных и городских слобод с их центрами — братскими дворами и церквями. Центры системы — Красная площадь с земским приказом и Лобным местом и Ивановская площадь Кремля (место приказов).

Вторая состоит из территорий немецких слобод и посольств иностранных государств.

Как видим, структура градостроительного памятника созданию единого Русского государства очень сложна и вместе с памятниками воинской славы объемлет всю древнюю Москву. Но и этот памятник служит также «пьедесталом» для высшего памятника Москвы, который можно назвать символом «Третьего Рима». Здесь мы уже имеем дело с памятником, имеющим многогранное значение.

1. Восход нового государства на мировую арену.

2. Перенос в Россию центра восточного христианства.

3. Принятие Россией роли защитницы христианских стран (в основном византийского ареала).

4. Создание «идеального» города в пределах средневековых понятий.

5. Высший комплексный памятник русского градостроительства.

Все эти идеологические задачи свелись к двум путям воплощения: 1) создание подобия «второму Риму» — Константинополю и 2) создание «модели» — символа «горнего Иерусалима» — Рая. Стена Скородома, на месте которого ныне проходит Садовое кольцо, охватила, подобно стенам Константинополя, семь холмов. Преемственность от Византии выразилась еще в древнем названии одних из ворот Кремля — Константино-Еленские и прочее.

Подобно «небесному Иерусалиму», описанному в Апокалипсисе, Москва имела двенадцать ворот, по трое — на каждую из четырех сторон света. «Стогны града» (перекрестки улиц — символ жителей Рая) были «златом чистым» — златоглавые московские церкви.

Красная площадь введением крестного хода в Вербное воскресенье превращалась в огромный «нерукотворный» храм, престолом которого был собор Покрова на Рву с аналоем — Лобным местом. Таким об-

разом, собор Покрова является центром «модели» «небесного Иерусалима», символизируя «престол Божий и Агнца».

Он же, как мы видим ранее, — центр памятника воинской славы России. И это не случайно, ибо «Третий Рим» — результат побед и их знамя¹.

Вот три основных градостроительных памятника древней Москвы, но есть и еще ряд важных систем: памятники, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся русских людей — общественных и политических деятелей, ученых, писателей, поэтов, художников и других.

II. МОСКВА — ГОРОД

Прежде всего здесь имеется в виду древняя часть Москвы примерно в границах бывших Камер-Коллежских валов, прошедших вдоль более древних линий монастырей-сторож и городских слобод за Скородомом.

В журнале «Наука и жизнь» была опубликована статья Г. Я. Мокеева «Москва — памятник древнерусского градостроительства»².

Автор неопровержимо доказал, что планировка Москвы не имеет ничего общего с радиально-кольцевой, а может быть названа спирально-веерной. При этом улицы Москвы не радиальные, а веерно-ветвистые. В статье описаны основные принципы древнерусских планировок городов, глубоко отличные от средневекового градостроительства других стран, и показано, что древняя Москва — наиболее развитый в планировочном отношении русский город, а следовательно, наиболее полная энциклопедия древнерусского градостроительства. Последнее сразу переводит историчес-

¹ Данные о градостроительной символике г. Москвы приводятся по материалам доклада архитектора М. П. Кудрявцева в лектории центрального Совета ВООПИК.

² «Наука и жизнь» № 9, 1969 г.

кую часть столицы в ранг высшего памятника русской градостроительной культуры мирового значения.

В этом Москва не является исключением из древних столиц. Они, будучи, естественно, основным местом притяжения народов, всегда являлись высшим материальным воплощением их культуры. Поэтому все древние столицы — памятники мирового значения.

К сожалению, в анализ Г. А. Мокеева не вошли территории за нынешним Садовым кольцом, то есть около 3/4 средневекового города. Но нам должно быть понятно, что это — единый организм, построенный по единым законам.

Москва как просто город состоит из пяти элементов: 1) природного ландшафта, 2) культурного слоя, 3) планировки, 4) застройки и композиции.

Если мы разберем все эти элементы, ценность их не вызовет сомнений. Однако для последнего не требуется сколько-нибудь детального разбора, достаточно будет лишь основных доводов.

1. ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ

Кроме чисто физической ценности (оздоровление климата, роль водных поверхностей и т. д.), природный ландшафт Москвы имеет ценность историческую.

Реки московские — древние торговые пути, места битв и пути воинской славы.

Урочища — места древнейших поселений, места боев (Воронцово поле, Кучково поле, Большое поле, Девичье поле, Ходынское поле, Старые и Новые Лужники и т. д.).

Сами названия вызывают множество исторических ассоциаций. Невольно хочется на каждом урочище увидеть мемориальные доски — «заголовки» глав русской и мировой истории.

Рельеф Москвы, осмысленный символически как «семь холмов» — часть высшего политического памятника России, о котором говорилось выше.

2. КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Культурный слой Москвы имеет среднюю глубину 5-6 м и максимальную — до 12 м. Он содержит в себе остатки культуры с III тысячелетия до нашей эры, то есть дает материал почти о пяти тысячах лет культуры народа. Этого вполне достаточно для понимания уникальной ценности московской земли. Если же к этому добавить, что с XIV века Москва становится столицей России, что тут же отразилось на жизни города, то станет понятно особое значение археологии в столице.

О планировке, застройке и композиции уже говорилось выше. Наличие столь уникальных черт в планировке и композиции, необыкновенное насыщение застройки памятниками архитектуры, истории и культуры (больше, чем во всех столицах Союзных Республик) представляют для нас огромную ценность.

Таким образом, в Москве подлежат охране и реставрации следующие элементы и системы:

I. Природный ландшафт:

- а) водные поверхности;
- б) естественные открытые пространства по долинам рек;
- в) рельеф (прежде всего «7 холмов»).

II. Культурный слой:

- а) весь слой вообще;
- б) археологические памятники III тысячелетия до нашей эры — XVII в.

III. Планировка:

- а) стены и места стен (с последующим восстановлением);
- б) улицы-связки;
- в) система древних торговых;

- г) естественное деление города на Кремлевское междуречье, Занеглименье, Замоскворечье и Заяузье;
- д) стратегическое деление города на Кремль, Китай-город, Белый город и Скородом;
- е) места и планировка улиц, переулков и тупиков древних слобод и посадов.

IV. Застройка:

- а) вся застройка до первой половины XIX в. (включительно);
- б) выборочно (в увязке с композицией XVII века) застройка второй половины XIX в. (начало);
- в) археологические остатки древней застройки до начала XVIII в.

V. Композиция:

- а) соотношение высоты застройки и высоты композиционных акцентов;
- б) композиционные связи (путевые и пространственные);
- в) зоны восприятия;
- г) открытые пространства.

Таким образом, становится понятной вся важность комплексного системного подхода к решению градостроительных задач.

III. СТОЛИЦА СССР

Значение Москвы как столицы СССР понятно каждому. Но необходимо подчеркнуть особое значение исторической древнерусской части города именно в аспекте всего Союза. Системы градостроительных памят-

ников воинской славы, созданию единого Русского государства и Российской империи и символ «Третьего Рима» приобретают высокий смысл сегодня, ибо без тех исторических сдвигов и событий, которым посвящены упомянутые памятники, никогда не возникло бы государство, занимающее одну шестую часть земли — Советский Союз.

Правда, сегодня СССР несколько меньше Российской империи: в него не входят Польша, Финляндия, Аляска и значительная большая часть Армении, но отделение Польши и Финляндии — результат естественного исторического процесса.

Насколько прочным оказался фундамент огромного государства, организованного Россией, видно из того, что после трех революций и трех великих войн потери в целом оказались относительно малыми, а приобретения выросли в ареал дружественных, связанных с нами политически и экономически стран.

Как известно, Москва явилась и фундаментом, и главой страны, что подчеркивает особую ценность древней Русской столицы и ее градостроительных памятников.



«Произвести необходимые приготовления, чтобы Москва и ее окрестности с помощью огромных сооружений были заполнены водой. Там, где стоит сегодня Москва, должно возникнуть море, которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу русского народа».

Директива Гитлера. «Нюрнбергский процесс» т. I М. 1957 г. стр. 495.

«По нашему мнению, все жилые дома высотой до трех этажей включительно, вне зависимости от вида стеновых материалов и степени физического износа (за исключением памятников культуры, истории и архитектуры),

должны быть отнесены к числу не опорного жилого фонда, подлежащего сносу при реконструкции, без установления какой-либо очередности».

Шлюммер — нач. отдела градостроительной экономики Глав АПУ г. Москвы, доклад на научно-технической конференции Глав АПУ. М. 1969 г.

«Рассмотреть вопрос о снятии объекта с охраны и последующем сносе». А. Б. Гурков³.

Итак, вспомнив вкратце, что собой представляет Москва, обратимся к деятельности архитекторов, объединенных Московским отделением Союза архитекторов.

Кульминацией первого периода московского градостроительства был Генплан 1935 года, которому предшествовала полемика различных архитектурных группировок, выборочное строительство и выборочный снос. После голода и разрухи, после необходимого восстановления жилья, фабрик и заводов, стало, наконец, возможно приступить к последовательной реконструкции столицы. Не будем вдаваться в подробности строительства двадцатых и начала тридцатых годов. Отметим лишь такие работы, которые вызывают невольное удивление своей, мягко говоря, слабой связью с тяжелым экономическим положением страны в это время. Первое: сносы церквей и монастырей, помещения которых можно было бы использовать для различных нужд, если уж оттуда удалили верующих. Чем объяснить эти совершенно непроизводительные затраты? Послереволюционной ломкой? Вряд ли. Ведь еще в 1917 году вышло воззвание Совета рабочих и солдатских депута-

³ Резолюция на проекте охранной зоны памятника истории и архитектуры «дома Филиппова» — XVIII век.

тов о том, что все эти здания — памятники культуры и их надо беречь. Это воззвание было подкреплено безграничным авторитетом Ленина, значит, революционно настроенные «массы» не могли ничего сломать. Контрреволюционеры, по понятным причинам, также не могли этого делать. Нечего говорить, что тем более не участвовали в сносах нейтральные слои населения.

Тогда, может быть, это — головотяпство отдельных руководителей, так сказать, «инициатива», о которой никто не просит, то есть попросту медвежья услуга? Трудно поверить, видя массовость, хорошую организацию и определенную систему сносов.

Второе, что весьма удивляет в Москве, — снятие двуглавых орлов со шпилей кремлевских башен. Стоимость сего деяния превышает стоимость рабочего поселка Сокол. Не лучше ли было поступить иначе: на эти деньги построить еще один поселок?

Могут сказать, что это оправдано с идеологических позиций, так же, как, например, «Интернационал» в бое кремлевских курантов. Однако это не так, ибо каждому разумному человеку ясно, что герб России не имеет отношения ни к угнетению пролетариата, ни к самодержавию. Двуглавый орел, как известно, был перенят от Византии вместе с переходом к Москве роли столицы православного христианства. В России он означал еще защиту Родины от Востока и Запада. Именно поэтому две главы и грудь орла — со щитом с изображением Георгия Победоносца, герба Москвы.

Итак, Россия, защищенная Москвой, — символ настолько ясный и величественный, к тому же абсолютно исторически верный, что мы не найдем здесь никаких разногласий с нашей официальной идеологией. Понятно, что золотой Российский герб, взятый от Византии, на шпилях Кремля — один из очень важных элементов всех идейно-политических градостроительных памятников древней Москвы.

Тем не менее двуглавые орлы были сняты, и ком-

мунистическая идеология, никогда не отрицавшая исторического подхода, здесь ни при чем. Более того, со всех существующих позиций логично было бы оставить гербы на башнях, а если уж произошла столь крупная ошибка, что их сняли, то надо их восстановить снова.

Тогда где же причина такого экономического «подвига», на который пошли для осуществления дела, во всех смыслах отрицательного? И не закономерно ли, что было осуществлено это лишь после смерти В. И. Ленина?

На все накопившиеся вопросы, связанные только с двумя фактами, сразу не дашь ответа. Ключ, раскрывающий загадочный ящик Пандоры, можно подобрать при анализе Генплана 1935 года — вершины первого этапа строительства Москвы.

В основу проекта заложен принцип сохранения основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой его путем упорядочения сети городских улиц и площадей⁴.

Как сочетать «сохранившиеся основы исторически сложившегося города» с «коренной перепланировкой его путем упорядочения сети городских улиц и площадей», совершенно непонятно, т. к. одно исключает другое. Для всего комплекса работ необходимо было определить, каков же сам исторический город и его планировочная система. Обратимся к Л. М. Кагановичу:

«Мы должны суметь сочетать задачи изменения старого лица Москвы с исторически сложившимся городом. Необходимо сказать, что при ближайшем более детальном ознакомлении, не ломая коренным образом города, можно усовершенствовать радиальные улицы и кольца в единую систему радиально-кольцевого расположения Москвы»⁵.

⁴ «Строительство Москвы», № 7, 1935 г.

⁵ «Московские большевики в борьбе за победу пятилетки» Л. М. Кагановича, М. 1932 г., стр. 100.

Прежде чем проанализировать значение этого высказывания, вспомним, что Лазарь Моисеевич Каганович был практически полным и единовластным руководителем строительства Москвы и проекта Генплана ее реконструкции, что подтверждается огромным количеством документов (опубликованных в печати), содержащих высказывания, подобные, например, такому:

«Исключительна организаторская руководящая роль товарища Л. М. Кагановича, как в уже осуществленных работах по реконструкции Москвы и подъему ее городского хозяйства, так и в выработке Генплана».

Заметим (не могу сказать «кстати» или «некстати»), что Л. М. Каганович не имел специального архитектурно-градостроительного образования. Но исторически сложившаяся планировка определена им как «радиально-кольцевая». Это определение основано на дореволюционном мнении ряда исследователей, находившихся под влиянием классицизма и ампира. Мы знаем, насколько сильны были рецидивы классицистско-ампирного мышления в советское время (Жолтовский, Щерев и др.).

Но исследователи прошлого не заявляли категорически ничего о малоизученных явлениях. Высказывая мнение о радиально-кольцевой Москве, они, отличая её от подобных западных планировок, подчеркивали своеобразие города, корни которого лежат в своеобразии русского общественного строя.

Уже при советской власти в двадцатых годах работала группа крупных исследователей русской архитектуры под руководством профессора Чаянова. В отношении Москвы Чаянов пришел к выводам, подобным Г. Я. Мокееву, правда, сформулированы они были не столь определенно. Тут же исследования были закрыты, группа Чаянова арестовывается по вздорному обвинению (по инициативе Л. М. Кагановича), а на «научную арену» выдвигаются братья Гольденберг, начав-

шие представлять радиально-кольцевую планировку Москвы как неопровержимый факт. Вот каким образом делалась «научная основа» Генплана 1935 г.

Как видим, главному автору этого проекта было совершенно необходимо считать Москву радиально-кольцевой. Для осуществления этого он спокойно пошел на уничтожение целой группы крупных исследователей. Что же намечалось делать дальше? Обратимся снова к той же книге Л. М. Кагановича:

«Если посмотреть сверху на Москву, то можно увидеть 15 прямых магистралей, расходящихся во все стороны от центра города. Если проехать по большинству улиц, то эти прямые улицы заметить будет очень трудно. Объяснение этому мы находим в том, что все радиальные улицы на своем пути прерываются разного рода сооружениями, не имеют одинаковой ширины и прямолинейности. Исторически они слагались из отдельных отрезков, замыкающихся стенами или валами. От всего этого новый город с большим движением должен освободиться. Основные магистральные улицы должны быть расчищены от мелких построек, стоящих на пути движения, расчищены и выпрямлены. К этому надо приступить сейчас же, нанеся красные линии расширения и не допуская застройки или надстройки на участках, выходящих за пределы этой линии.

Возьмите Ильинку: она начинается в Китай-городе, потом Покровка, улица Карла Маркса, Бакунинская, Семеновская, Измайловское шоссе. Если вы ворота на Ильинку снимете, выравниваете кое-где дома, вы получите законченную радиальную улицу — прямо проспект! Дальше, возьмите Лубянку: она по существу начинается с Никольской; снимите ворота, выравнивайте Лубянку и Сретенку, удалите Сухареву башню, и вы получите проспект до самого Ярославского шоссе. Такие же проспекты вы получите по линии Неглинной, Дмитровки, Тверской, улицы Герцена, Арбата и т. д.» (стр. 100-107).

Как говорится, комментарии излишни! Достаточно ясно, чего в основном хотели добиться авторы Генпла-

на 1935 года — максимального уничтожения памятников русской архитектуры в Москве.

Отношение к русской культуре и полное нежелание понять русское градостроительство очень хорошо показал сам Каганович:

«Все мы (!) знаем, что старые города строились стихийно, в особенности торговые города. Когда ходишь по московским переулкам, то получается впечатление, что эти улочки прокладывал пьяный строитель».

После этого совершенно логически вытекает установка:

«Мы должны знать, где и как строить, проложив ровные улицы в правильном сочетании, выправлять кривоколенные и просто кривые улицы и переулки»⁶.

Почему же выгодно было навязать Москве радиально-кольцевую планировку? Ведь еще до Генплана 1935 года один из крупнейших архитекторов нашего времени Корбюзье написал книгу, в которой глубоко раскрыл крайне отрицательные черты радиально-кольцевой планировки. Корбюзье, в частности, говорит:

«Куда идут автомобили? К центру. В центре не хватает площади, по которой можно двигаться. Автомобили — это новое событие с огромными последствиями для большого города...

Наши улицы в большом количестве ведут свое начало еще с XVI или XVII веков... Улицы XX века — это улицы для продвижения на лошади.

Куда ни помотришь — всюду прилив крови, удушение»⁷.

«Странная вещь — позволяют строить, допускают воздвигать на площади старого города, который умерщвляет жизнь,

⁶ Л. М. Каганович. «За социалистическую реконструкцию Москвы и городов СССР». М.-Л. 1931 г., стр. 65-66.

⁷ Ле Корбюзье. «Планировка города». М. 1933. — Прошу обратить внимание на дату издания: за два года до Генплана Москвы. Стр. 52-69.

новый город, который тем скорее, тем неизбежной убьет жизнь, что она не считается с проблемой движения...»⁸.

«Стремление лица, занятого перепланировкой города, должно быть направлено к тому, чтобы избегать планировки его по радиусам и концентрически. В этом глубокое несчастье всех больших городов, развитие которых шло веками и изо дня в день; в таком же положении находится Москва»⁹.

Корбюзье пишет для специалистов, поэтому некоторые вопросы надо разъяснить. Прежде всего заметим, что он считает Москву тоже радиально-кольцевой, что простительно французу; однако его анализ этой планировки точен.

Далее, Корбюзье правильно замечает, что движение в массе идет к центру, почему неверны слова Кагановича о «расходящихся» магистралях (см. выше) — они в действительности (по характеру движения) сходятся к центру.

Радиально-кольцевая система напоминает гигантскую воронку, где всё сливается с краев в центр, а «усовершенствование» ее все более усугубляет противоречия — «прилив крови, удушение».

Расширение улиц приводит к увеличению количества транспорта, идущего в центр, по фронту движения (больше машин идет рядом в проезжей части).

Это увеличение надо умножить на число расширяемых радиусов. Удлинение радиусов (в Москве — 15-20 км) с застройкой вдоль них жилых районов и промпредприятий приводит к увеличению количества транспорта по глубине колонн движения. Спрявление радиусов приводит к увеличению скорости движения, то есть к стремлению ездить не по кольцам, а насквозь — по диаметрам, сквозь центр.

По кольцам тоже ездить необходимо, и мы видим воочию, какой «транспортворот» раскручивается по

⁸ Там же, стр. 145-146.

⁹ Там же, стр. 193.

Садовому и Бульварному «кольцам» и по площадям вокруг Кремля и Китай-города. Рост города с увеличением транспорта создает, наконец, тот «критический момент», когда станет неотложной необходимостью сломать центр и соединить все «радиусы» в диаметры. На стыке существующих московских шестнадцати радиусов нужно будет воздвигнуть многоярусную развязку. Где? На месте Кремля, Красной площади и Китай-города!

Сейчас уже со всей серьезностью обсуждается проект соединения четырех радиусов в два диаметра по направлениям север-юг и восток-запад. Это хотят сделать под землей, соорудив там же под древним центром многоярусные стоянки.

Ну что ж! Вот вам и первые два яруса будущей развязки. Они пока под землей, но следующие ярусы пойдут не вглубь земли, а вверх, на землю и на надземные эстакады. Нет нужды говорить, что, накладывая радиально-кольцевую планировку на Москву, московские градостроители подготавливали уничтожение древнего русского наследства.

Последнее подтверждается фактами прямых сносов древних памятников: за период с конца двадцатых годов в Москве снесено более 400 памятников только известных науке. Среди них есть такие, что вообще трудно себе представить, чтобы в какой-либо стране возможно было уничтожение подобных святынь: собор Казанской Богоматери на Красной площади, построенный князем Пожарским в честь победы над поляками, Воскресенский монастырь в Кремле, построенный княгиней Евдокией в честь победы на Куликовом поле, древнейшее каменное сооружение Москвы — собор Спаса на Бору в Кремле, церковь Николы Явленного на Арбате, посвященная победе над Тохтамышем, храм Христа Спасителя — главный памятник России и мира, построенный в ознаменование победоносного оконча-

ния самой великой войны XVIII-XIX веков — войны с Наполеоном и т. д.

В данном случае были нарушены не только все и всяческие понятия о культуре, но и само советское законодательство, прежде всего один из самых первых декретов — Декрет 1918 года об охране памятников. Член ЦК ВКП(б) и депутат Совета трудящихся Л. М. Каганович поступил совершенно в противоположном смысле по отношению к воззванию Совета депутатов трудящихся, где прозвучал призыв ко всему народу не разрушать ни единого камня в древних памятниках.

В своих нарушениях постановлений и законов московские зодчие не ограничились сферой законодательства по памятникам. Для осуществления цели уничтожения древней русской столицы надо было как можно больше увеличить население города, и это, как видим, было осуществлено. Пользуясь безграничным доверием Сталина и непониманием градостроительных вопросов со стороны руководящих деятелей того времени, Каганович и московские архитекторы протащили через ЦК и СНК свой вредительский проект и утвердили увеличение численности населения до 5 млн. человек, и (как не восхититься невольной ловкостью!) это в то время, как всем было известно, что Ленин указывал основное направление развития хозяйства и форм человеческого общежития как:

«...соединение промышленности с земледелием на почве сознательного приложения науки и комбинации коллективного труда и нового расселения человечества (с уничтожением как деревенской заброшенности, оторванности от мира, одичалости, так и противоестественного скопления гигантских масс в больших городах)»¹⁰.

Это положение было развито в общегосударственную установку в постановлении июньского ЦК ВКП(б):

¹⁰ В. И. Ленин. Соч. т. XX, часть I. Изд. I. Стр. 490.

«Учитывая, что дальнейшее развитие промышленного строительства страны должно идти по линии создания новых промышленных очагов в крестьянских районах и тем самым приближать окончательное уничтожение противоположности между городом и деревней, пленум ЦК считает нецелесообразным нагромождение большого количества предприятий в ныне сложившихся крупных городских центрах и предлагает в дальнейшем не строить в этих городах новых промышленных предприятий, в первую очередь не строить их в Москве и Ленинграде, начиная с 1932 г.».

Установка на ограничение роста городов никогда не изменялась, она повторена в Программе КПСС:

«Задачи по созданию материально-технической базы коммунизма обуславливают бурный рост производительных сил и требуют их более рационального и равномерного размещения на территории страны как важнейшего гармоничного развития всех отраслей народного хозяйства. Это обеспечит экономию общественного труда, комплексное развитие районов, специализацию их хозяйств и предотвратит чрезмерную скученность населения в крупнейших городах».

В противовес всем этим решениям и элементарной логике было протащено увеличение Москвы вдвое, а в процессе дальнейшего осуществления Генплана к сегодняшнему дню численность населения Москвы выросла по сравнению с 1935 г. в три раза за счет, разумеется, расширения старых и строительства новых промпредприятий, НИИ и фабрик.

Сегодня в Москве около 80% предприятий не имеют ничего общего с городом: 100% сырья привозят и 100% продукции увозят — подавляющее большинство столичной промышленности — первоочередные объекты для «рационального, равномерного размещения на территории страны»! Вот первый конкретный результат реконструкции Москвы, показывающий воочию «заслуги» градостроителей, объединенных в Московском отделении Совета архитекторов СССР.

Другая «заслуга», уже показанная ранее, — уничтожение древних памятников и вообще древней Москвы как комплексного памятника древнерусской истории и градостроительства. Этот пункт в программе московских архитекторов всегда был основным. Для скорейшего осуществления его была создана такая проектная мастерская, которая способствовала осуществлению самых вредных черт генплана 1935 года. Были созданы «магистральные» мастерские, то есть мастерские, проектирующие радиальные магистрали. Из кольцевых магистралей построена только московская кольцевая автодорога (МКАД), которая ни в какой мере не влияет на внутригородские передвижения. Кстати, эта дорога не была запроектирована в Генплане 1935 года.

Сегодня почти все радиусы налицо, кроме Ново-Кропоткинского, Ново-Кировского (уже строится), Пресненского и Обуховского, то есть что идут внутри Садового кольца. Все же данные, чтобы их пробить, есть: новые районы, посаженные на мощные радиальные магистрали.

В послевоенные годы московским градостроительством руководил заместитель главного архитектора города А. М. Заславский, выдвинувшийся еще при Кагановиче. Являясь председателем Комиссии генерального плана градостроительного совета Глав АПУ, он последовательно проводил в жизнь «генеральную линию» Генплана 1935 года. Силы влияния этого деятеля были поистине огромны: достаточно сказать, что при Заславском сменились шесть главных архитекторов Москвы! Памятники русской архитектуры продолжали лететь: Воробьевский дворец XVII века, семь церквей XVI—XVIII веков в Лужниках, целый комплекс палат и дворцов в самом центре. Когда начальник инспекции по государственной охране памятников Москвы Борис Иванович Кузнецов вместе с архитектором-реставратором, кандидатом архитектуры Галиной Владимировной Алферовой, пришли просить Заславского о сохранении па-

лат XVII века, то получили в ответ: «Не ходите и не просите. От ваших (!) памятников мы (!) не оставим ничего».

Еще в период осуществления Генплана 1935 года московские зодчие гордились такими, например, «подвигами»:

«Стучат молотки. Рушатся уроды, созданные во времена царизма. Канет в вечность Страстной монастырь. Уйдет в небытие узкая Тверская. На их месте возникнет расширенная улица Горького — магистраль, достойная столицы СССР»¹¹.

То же самое они могли с гордостью написать при Заславском, да и сейчас.

«Он мог бы набраться полезных знаний, как все его братья: он, можно сказать, вскормлен на лучах, где его знания сами растут из земли; но эта шутовская погоня за французской модой и книжной премудростью, за всяческими новшествами, и ренегаты, и ганноверская династия так изменили мир, что я не узнаю нашу старую добрую Англию».

Вальтер Скотт. «Роб-Рой»

Последний этап деятельности московского отделения Союза архитекторов СССР неразрывно связан с именем главного архитектора г. Москвы Михаила Васильевича Посохина. Вступление его на «московский стол» имело немаловажную, весьма знаменательную причину: т. Посохин согласился построить в Кремле Дворец Съездов. Зная, что выполнение этого заказа сразу выдвинет его самого, он не остановился перед уничтожением дворца русских цариц XV — XVII веков,

¹¹ «Строительство Москвы» № 2, 1937 г. Передовая.

огромной части Кремлевского культурного слоя и Кавалергардского корпуса XIX в.

Это строительство вызвало целую бурю протеста. Не проходило и недели, как в прессе появлялись письма деятелей науки и культуры, архитекторов и историков, — все было против искажения ансамбля Кремля. А сколько шло протестов в правительство, к Хрущеву! Но у Посохина было одобрение свыше и... «исторические» примеры: архитектор И. И. Рерберг — автор Кремлевского театра (построен на месте Чудова и Вознесенского монастырей), и, наконец, такой авторитет, как Баженов, спроектировавший при Екатерине II снос всего Кремля и постройку на этом месте дворца в «новом вкусе».

Значительно позже, когда потребовалось спроектировать новый зал в Кремле на территории Теремного дворца (на месте собора Спаса на Бору — см. выше), Посохин весьма назидательно заявил на совещании руководства Глав АПУ: «Если вы с этим справиться не сможете, я (!) приглашу зодчих из Италии». Вряд ли при этом «новому Фиораванте» Посохин предложил бы «построить, как во Владимире, но больше», тем более, что сам Михаил Васильевич построил свой Дворец Съездов, «как в Будапеште, но с другим гербом»... Но посмотрите, как хорош главный архитектор Москвы в позе «а-ля» Иван III.

Всё это не так просто, на самом деле Посохин многолик: работая в Кремле, он объединил в себе не только образы Баженова, Тона и Рерберга, но и Кагановича, и даже Наполеона, разрушившего при отступлении часть стен и башен Кремля; проект проспекта Калинина представил нам Посохина в образе делового американца XX века.

Да, всем проектам вождя московских зодчих можно найти «адрес» — прототип во всех концах земли, кроме... России. Эта страна не входит в «круг творческих интересов» Посохина и отразилась лишь в назва-

нии гостиницы, выстроенной по проекту Чечулина с благословения, конечно, главного архитектора.

Это второе деяние — гостиница «Россия» — также интересно для нашего анализа. Нам важны три аспекта: идеологический, культурный и экономический.

С идеологической точки зрения, очень интересна реклама гостиницы на высокой башне в центре северного фасада. Реклама далеко видна во всей Москве. Крупными буквами без всяких кавычек сверху написано РОССИЯ, а внизу расшифровано, что же такое Россия: гостиница, бар, ресторан, кафе, дансинг!

Вряд ли кому придет в голову назвать гостиницу именем Дмитрия Донского, Льва Толстого, Достоевского, Кутузова и т. д., — каждому понятно, что такие вещи просто недопустимы, ведь есть святые имена, которые не налепишь на всё, что угодно. Но все эти имена объединяются в одно — самое святое имя — РОССИЯ, так как же можно было допустить такое кощунство? Видимо, это кощунство допущено сознательно: для Посохина и его присных, как прежде для Кагановича, политика антирусского шовинизма — генеральная линия их жизни и деятельности. Именно поэтому на глазах у русских восставляется надпись, что Россия — не великая страна, не грандиозная культура, не родина великого народа, а ресторан и бар. Это — идеология.

С точки зрения культуры, строительство гостиницы ознаменовалось гибелью уникальных русских памятников. На этом месте уничтожены: три церкви XVI века, две церкви XVII века, церковь XV века, несколько палат князей и бояр XVI - XVII в. в., Псковское подворье XVI века, дворец князей Мстиславских XVII века, Мытный таможенный двор XVII в., последние остатки южной стены Китай-города (Москворецкая башня) и несколько древних подворий.

Кроме того, уничтожен археологический памятник мирового значения, находившийся на учете в ЮНЕСКО.

КО, — древнее Зарядье, которое «исследовано» лишь на 10% и в подавляющем большинстве (из этих процентов) методом «выхватывания из ковша экскаватора».

Таковы невозвратимые утраты русской культуры, а что же вы получили взамен? Тупой сундук, серый и монотонный, сделанный в большинстве своем из заграничных материалов. Черной тучей он навис над Кремлем, над Василием Блаженным, перекрыл дорогие и привычные виды и панорамы древнего центра. Длительная, изнурительная борьба деятелей культуры, историков и архитекторов увенчалась лишь небольшим успехом: сохранены памятники по улице Разина, часть Китай-городской стены и церковь Зачатия Анны XVI века. Об этой борьбе можно было бы написать огромный роман, ведь только один эпизод этой борьбы — сохранение Английского посольского двора XVI века — может дать возможность любому писателю превзойти все истории Шерлока Холмса, а борьба за церковь Зачатия Анны — прекрасный сюжет для гротесков типа О'Генри: чтобы сохранить ее, рядовые работники мастерской Чечулина рисовали на месте церкви то спорт-площадку, то газон, то бассейн, лишь бы не было тут ничего «жизненно важного» для гостиницы. Нет смысла анализировать архитектуру гостиницы — она налицо и каждый может ее сравнить хотя бы с памятниками, стоящими рядом.

Теперь с экономической точки зрения. Стоимость строительства превысила 180 млн. рублей. При этом стоимость реставрации памятников Зарядья (11 штук) составила бы 2% от стоимости гостиницы. Но этими 180 млн. р. мы не отделались: фундамент и подвалы гостиницы заглублены в землю ниже 20 метров, что резко снизило уровень грунтовых вод и создало «сектор обтекания» водами здания гостиницы. Постройки, расположенные выше по рельефу — семь зданий вдоль северного фасада гостиницы, Гостиный двор архитектора Кваренги и Гостиный двор архитектора Казакова —

имеют свайный дубовый фундамент, который не может существовать без увлажнения грунтовыми водами. Отвод грунтовых вод ставит эти памятники на грань катастрофы. То же самое произошло при строительстве Дворца Съездов, из-за фундаментов которого были разрушены фундаменты Успенского собора и собора Двенадцати Апостолов. Сейчас под них подведены монолитные бетонные фундаменты, общая стоимость которых — 100 миллионов рублей, что превышает стоимость строительства Дворца Съездов (87 млн. руб.).

Подобных бетонных оснований в районе гостиницы в Зарядье необходимо будет сделать не два, а четырнадцать! Прибавьте сюда эксплуатационные расходы на ремонты и отладку оборудования и вы убедитесь, что доходы от этого торжища никогда не окупят грандиозных затрат.

Стоимость реставрации одного памятника редко превышает 1,5—2 млн. руб., а это значит, что за 380 миллионов в Москве можно отреставрировать 440 памятников, а в утвержденном списке их 407! К тому же древние памятники при мизерных эксплуатационных затратах дают большой доход, будь это действующая церковь или музей, или просто учреждение.

Такой анализ строительства гостиницы необходим здесь, так как именно на этом примере особенно наглядно видна уродливая личина московского градостроительства. К этому уместно добавить, что в столице нет ни одного полностью отремонтированного памятника. Всё это имеет прямое отношение к идеологии, так как при анализе, с точки зрения культурной экономики, мы опять приходим к идеологическим выводам: уничтожение русской культуры и замена ее культурой космополитической. При этом без зазрения совести ведущие архитекторы преподносят нам образчики полной профессиональной беспринципности. Вот что пишет М. В. Посохин:

«Отсутствие строгой регламентации этажности строящихся зданий, вытекающей из общей идеи силуэта города, отрицательно сказывается на застройке Москвы и особенно на ее центральной части. Видимо, потребуется прекратить в пределах Бульварного кольца дальнейшее сооружение высотных зданий»¹².

И буквально года не прошло, как он же произносит такие слова:

«Генеральным планом Москвы рекомендуется повышение плотности размещения жилого фонда, что дает возможность сократить территорию жилой застройки, высвободить резервы земли, необходимые для размещения всех видов учреждений обслуживания, спорта и зеленых насаждений. В центральной части Москвы особенно целесообразно повысить этажность застройки»¹³.

Образчиков градостроительной беспринципности и нежелания критически взглянуть на пройденный путь можно найти множество в публикациях и делах московских архитекторов.

В докладе руководителя мастерской № 1 КИИПИ Генплана Москвы Симона Матвеевича Матвеева «Планировочная структура города», прочитанного на семинаре по вопросам научно-технического прогресса в марте 1969 г., мы читаем:

«Исходя из преемственности развития города и его современных масштабов, архитектурно-планировочная организация, принятая в генеральном плане, предусматривает:

— членение городской территории на 8 планировочных зон с населением порядка 0,6—1,0 млн. человек...»

Позволю осведомиться, какая «преемственность развития» заложена в членении города на эти 8 зон?

¹² М. В. Посохин. «Москва, проблемы ее планировки и застройки». См. в журнале «Строительство Москвы» № 3, 1968 г.

¹³ М. В. Посохин. «Город начинается с проекта». См. в газете «Моспроектовец» от 28 февраля 1969 г.

До XVII века Москва делилась естественно на слободы и посады, к концу XIX века — началу XX сложилось деление, свойственное капитализму, о чем уже говорилось выше, — выходит, что нам прямо указывают на перенесение капиталистической формы в социалистическую столицу! Дальше следует пункт: «— сохранение исторических, материальных, культурных и художественных ценностей города...». В дальнейшем т. Матвеев раскрывает, как он хочет всё это сохранить (и не только он, а весь институт): «Застройку города предполагается вести домами повышенной этажности в 9—16 и более этажей (!)».

Если несведущий читатель прочтет в статье «Не зная броду...» следующие слова:

«Напомним (нам по крайней мере это было хорошо известно), что при строительстве проспекта не было снесено ни одного памятника архитектуры, ни одного здания, имеющего художественную ценность. Бывшая церковь Симеона-Стопника (XVII век) [даже не умеем правильно писать название церкви: надо Симеона Стопника — автор] бережно сохранена и умело вписана в архитектурный ансамбль проспекта»,

— у него может сложиться представление, что мы напрасно обвиняем Глав АПУ в намерении уничтожать памятники. Однако действительно ли не было снесено ничего ценного на Новом Арбате?

Открываем список памятников бывшего Фрунзенского района: ансамбль жилых деревянных домов, начала XIX в.: Композиторская улица 5-7 — охранный номер 296 — исключен из списка распоряжением СМ РСФСР № 2707 от 22/VI 1962 г.; жилой деревянный дом начала XIX в. Композиторская ул., 12 — охранный номер 376 — исключен из списка распоряжением СМ РСФСР № 1370р от 15. IV. 1963 г. и др. — всего пять зданий, состоявших на охране.

А ведь это не просто рядовые здания XIX века: дом № 5 принадлежал одному из величайших предста-

вителей русской философской и общественной мысли, славянофилу Хомякову, а в доме № 12 останавливался основатель советского государства — В. И. Ленин. К этому добавим, что среди снесенных оказался дом Пржевальского.

Могут сказать, что я критикую распоряжение правительства РСФСР, а Глав АПУ не при чем. Но это не так. Прежде чем выйдет такое распоряжение, проект его с «соответствующим обоснованием» готовится именно в Глав АПУ, передается на утверждение в Моссовет, а потом уже в правительство республики, которое совершенно не обязано не доверять ниже стоящим организациям, тем более, что при определенном опыте обосновать можно всё, что угодно, и достаточно убедительно.

Что касается остальных зданий, то, проходя мимо огороженных развалин на месте строительства проспекта Калинина, я видел кирпич XVI-XVII века, куски древних сводов, белокаменную резьбу и лепнину XVIII-XIX веков — остатки былых памятников, не входящих в официальный список, не открытых и никем не исследованных.

Формальный подход к охране памятников (что состоит в списках и его нельзя исключить из них, то сохраняем, а уж что не состоит, будь это какой угодно шедевр, то сносится без всяких разговоров) — вот как можно охарактеризовать деятельность Глав АПУ в этом вопросе.

И по меньшей мере ложью являются слова о сохранении церкви Симеона Столпника (с которой после реставрации были срезаны автогеном кресты), так как в проекте проспекта она сносилась тоже, и, если бы не вмешательство архитектора Антропова, заслуженного деятеля искусств архитектора-реставратора П. Д. Бараневского и народного художника СССР П. Д. Корина, не было бы этого единственного свидетеля уничтожен-

ного на этом месте великолепного куска древней Москвы.

Проспект Калинина — такое же полное, как гостиница в Зарядье, разоблачение деятельности наших градостроителей. В настоящее время они приступают к Арбатской площади и ко второй очереди проспекта до Библиотеки им. В. И. Ленина. Каждый москвич может увидеть собственными глазами дыру в западной части площади, которая зияет на месте последнего в Москве гостиного двора XVIII века. Их было всего пять. Гостиный двор князей Долгоруких на Арбате прожил до 1970 года. Этого типа старинных московских общественных и торговых зданий не существует на планете. Но и это еще не всё: часть этого дома, древнее Смоленское подворье XV века — исторический свидетель присоединения Смоленской земли к единому Русскому государству.

Памятник не состоял на государственной охране, но он числился под номером в дополнительном списке памятников Фрунзенского района, подготовленном инспекцией по государственной охране памятников архитектуры при Глав АПУ, иначе говоря, об исторической ценности этого сооружения руководящие градостроители Москвы были прекрасно осведомлены, точно так же, как и о церкви Иоакима и Анны на ул. Димитрова (XVII век), которая была взорвана по распоряжению М. В. Посохина и по проекту А. Б. Гуркова в ночь с 3 на 4 ноября 1969 года — за четыре дня до годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (церковь числилась в дополнительном списке памятников по бывшему Кировскому району под номером 1).

Точно таким же формальным, а вернее — предвзятым подходом характеризуется проект второй очереди проспекта Калинина. В какой-нибудь статье авторы проспекта или руководства Глав АПУ будут писать, что между Арбатской площадью и библиотекой

им. В. И. Ленина расположено только два памятника архитектуры: дом Талызина с Аптекарскими палатами и дом Арсентьева-Бутурлина. Они не напишут о том, что в дополнительном списке числятся дома 7, 9, 11 по проспекту Калинина, дом 10 по ул. Фрунзе, а в списке памятников культуры числится дом художника В. А. Серова по ул. Маркса-Энгельса. Добавим, что дом № 9 по проспекту Калинина принадлежал деду Л. Н. Толстого — князю Волконскому.

Кроме всего этого, в этом же квартале расположены дошедшие до нас кельи и настоятельские палаты Крестовоздвиженского монастыря (собор был снесен при Кагановиче), единственная сохранившаяся в настоящее время кузница XVII века, усадьба XVIII-XIX в. в. с чугунной решёткой (ул. К. Маркса и Ф. Энгельса, 17), с палатами начала XVII в., дворец князей-бояр Стрешневых XV-XVII в. в. — единственное гражданское здание с крупными частями XV в. за пределами Кремля, палаты XVII в. князей Горчаковых (ул. Янышева, 5).

Этих уникальных памятников русская история лишится после строительства второй очереди проспекта Калинина. Статья «Не зная броду...» весьма типична для московских зодчих. Передергивая факты, авторы ее с деланным возмущением вопрошают:

«Но если бы не было проспекта Калинина, как мы добились бы из центра Москвы (из центра или в центр? — автор) на Кутузовский проспект, в новый жилой район Фили-Машилово, на Минское шоссе? По старому Арбату с его непомерно плотной застройкой, плохо поддающейся реконструкции?».

Но эта песня никого не обманет! Надо было думать, когда из старой Можайской дороги вы сочинили проспект и навесили на этот «радиус» побольше жилья и промышленности. Это и есть лицо градостроительной антипатриотической политики проектировщиков Москвы — вывести на Садовое «кольцо» как можно боль-

ше «радиусов», а потом, сказав: «как же нам на них выехать из центра?», — вспороть еще в одном месте древний город, уничтожить еще несколько десятков памятников культуры русского народа.

То же самое относится и к Ново-Кировскому проспекту, Краснопресненской магистрали, улице Димитрова и т. д. О Ново-Кировском проспекте тоже будут писать, что там не сносят памятников. Но откроем журнал «Наука и жизнь» № 3 за 1970 г.: на 24 странице здесь опубликована статья В. Сорокина «Улица Кирова, 7 — дом с 250-летней историей». В ней написано, что после касимовского царевича, князя Долгорукова и Салтыковых, дом принадлежал Александру Дмитриевичу Чертанову — главе Общества любителей российской словесности. В этом доме бывал А. С. Пушкин, читал свои произведения Н. В. Гоголь, в библиотеке работали П. И. Бартенев и А. Ф. Федотов, его пользовался Л. Н. Толстой.

Позже, когда дом перешел к К. Обидиной, в нем на различных литературно-художественных кружках бывали и выступали К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, В. И. Качалов, Л. В. Собинов, а в 1907 году здесь чествовали М. Н. Ермолову.

Рассказав историю дома, автор говорит в заключение:

«Судьба этого здания вызывает сейчас беспокойство. В связи со строительством проспекта оно внесено в список домов, подлежащих сносу».

Комментарии излишни! К этому добавим, что рядом с этим домом находится грузинское подворье — первое посольство Грузии в России, которое тоже будет снесено при строительстве проспекта. А последняя фраза из статьи: «Здание надо бы сохранить. Ведь можно, пользуясь современной техникой, передвинуть его», — вызывает вопрос: куда? Ведь весь квартал, о котором идет речь, — вместилище не просто памятни-

ков русской истории, а уже в полном смысле святынь России. Вплотную стоит Вятское подворье XVI века и дом, перед которым поклонится и снимет шапку каждый русский, — здесь жил, сражался и был тяжело ранен один из величайших героев России — князь Дмитрий Михайлович Пожарский.

Вот уж действительно, «не зная броду...», лезут со своими ура-прожекторами наши «профессионалы» в самое живое сердце русской истории. Известно, что много областей, городов и краев РСФСР обращаются с просьбой о постановке на охрану вновь открытых ценных исторических зданий, о создании новых музеев и историко-архитектурных заповедников. Но еще ни разу ни в Общество, ни в Совет министров РСФСР не обращались с подобными предложениями руководители Москвы. Они всячески тормозят утверждение и без того куцевого списка, составленного инспекцией, а в это время сносят те здания, которые там значатся, пытаются снять с охраны и снести уже узаконенные объекты.

Для проведения в жизнь этих сносов создана уродливая система утверждений и согласований списков памятников и их охранных зон. Их утверждают сами проектировщики и районные архитекторы! Если уж вспоминать поговорки, идя по стопам авторов письма, то по-русски это называется — пустить козла в огород.

«Автографы» районных и магистральных архитекторов представляют огромный исторический, профессиональный и идеологический интерес. Вот проект охранной зоны № 37,38 дома Мусина-Пушкина и дома Закревского-Савина по Спартаковской ул. №№ 2, 3 — он не согласован руководителем мастерской № 6 управления «Моспроект-1» Иофаном (в 1964 г.) со следующей собственноручной надписью:

«Учитывая, что проектируемые красные линии делают необходимым снос объектов «1», «2» и «3» по Спартаковской ул. д. 3 — мастерская № 6 отклоняет согласование зоны указанных объектов.

Кроме того, мастерская считает необходимым поставить вопрос о пересмотре состояния объекта на гос. охране».

Подпись: «рук. районной маст. № 6 Иофан В. М.
29/IV-64 г.»

К этому опусу присоединяется заключение начальника Архитектурно-планировочного отдела Первомайского района И. Бреннера:

«До решения вопроса об установлении охранной зоны очевидно следует предварительно решить, какие из зданий подлежат дальнейшей охране, т. к. при обоих вариантах красных линий часть этих строений подлежит сносу...

ВЫВОДЫ

Проект охраной зоны по памятникам архитектуры, расположенным по улице Спартаковской № 2 и № 3 от согласования отклоняется, впредь до решения основных вопросов о строениях, подлежащих охране...

Одновременно Отдел обращает внимание на совершенную недопустимость выпуска проекта в открытом виде (то есть — не засекречен — автор).

Начальник Архитектурно-планировочного отдела Первомайского района — И. Бреннер
Исх. № 308 6/IV - 64 г.»

Вот еще один образец творчества тех же товарищей — заключение по охранной зоне № 26: жилой дом конца XVII — начала XVIII в. на ул. К. Маркса, 15:

«Учитывая расположение объекта с выходом за красные линии и крайнюю суженность проезжей части в связи с расположением напротив ценного арх. памятника — церкви Никиты-Мученика, мастерская отклоняет согласование охранной зоны объекта.

Рук. мастерской № 6
И о ф а н »

И заключение И. Бреннера:

СУДЬБА РУССКОЙ СТОЛИЦЫ

«Строения № 15 по ул. К. Маркса, расположенные при входе в парк им. Баумана — жилые, полностью утратили свой первоначальный облик и внутреннее убранство, выдаются за линию регулирования на 10-12 м. и создают на этом участке ул. К. Маркса совершенно недопустимое сужение. Принимая во внимание, что ц. Никиты-Мученика находится на противоположной стороне улицы, также выступает за линию регулирования на 12 м. и находится на участке, срезка которого невозможна из соображений сохранения действительно ценного хорошо сохранившегося п-ка.

Общая ширина ул. К. Маркса на этом участке не достигает 20 м., считая в т. ч. и тротуары.

Тротуар же у дома 15 доходит до 0,75 м., что совершенно недопустимо и вызывает частые уличные происшествия с человеческими жертвами, особенно в период эксплуатации сада им. Баумана.

Передвижка дома № 15 в глубь сада Баумана, даже принимая во внимание нереальность и абсурдность этих работ, недопустима, т. к. сад Баумана является единственным земельным участком в этой части района (вставка карандашом: «годным к застройке») и естественно не подлежит охранению.

ВЫВОДЫ

Проект охранной зоны по дому № 15 на ул. К. Маркса отклоняется в связи с его нереальностью.

Проект охранной зоны ц. Никиты-Мученика, а также домов Ин-та Геодезии и 2-х эт. дома по Гороховскому пер. согласовываются при условии исключения из зоны охраны дома по Демидовскому пер., выходящему за красные линии, пришедшему в крайнюю ветхость, передвижка которого по этой причине невозможна.

Одновременно отмечается совершенная недопустимость выпуска проекта открытым чертежом.

Нач. Арх-планир. отдела

Первомайского р-она

И. Б р е н н е р

Исх. № 306 от 6/IV-64 г.»

О чем здесь идет речь? Дом № 15 на самом деле не XVII века — точно известно, что он является путевым дворцом великого князя Василия II, а дом по Демидовскому переулку — боковой флигель дворца, построенного в XVII в. великим русским зодчим М. Ф. Казаковым.

Вообще от стиля этих «эссе» веет не только, мягко говоря, дурным тоном («отмечается совершенная недопустимость»), но, если хотите, идеализмом, мистикой. Оказывается, зона «отклоняется, в связи с его нереальностью»! Чего «нереальностью»? Дома? Нет, дом стоит. Может быть, нереален проект? Нет, проект опирается на самую простую очевидность существования памятника, даже оговоренного законом, — он числится в списках — Приложение № 1 к постановлению СМ РСФСР № 1327 от 30 авг. 1960 г.

А красные линии? Вот это есть всего лишь проект, который обязан учитывать то, что существует ценного в городе; а если нет такого учета, то именно красные линии нереальны. Вообще, заметьте, как всё это перекликается со словами Кагановича. Мы специально приводим именно эти примеры, чтобы читатель мог сравнить их с тем, что пишет Каганович о тех же красных линиях и улицах К. Маркса, Спартаковской и других.

Интересно для понимания ряда особых моментов в градостроительной политике Глав АПУ недовольство т. Бреннера тем, что проекты охранных зон не засекречены (хотя в них нет ничего секретного!). В связи с этим напомним, что и сами списки памятников Москвы имеют гриф «для служебного пользования». Если деятельность, связанная с охраной памятников русской истории и культуры, по возможности скрывается от народа — творца этой культуры, то уж подобные «заключения» по охранным зонам и вовсе невыгодно показывать всем. Под покровом, в темноте, в мутной водичке хотят осуществлять уничтожение памятников

столицы, причем «темнота» используется иногда в прямом смысле: церковь Иоакима и Анны XIII в. на ул. Димитрова (Якиманка) снесена за одну ночь, ночью начат снос дома Римских-Корсаковых. В выходной день (когда некому вмешаться) начат снос дома конца XVIII века в переулке А. Гайдара, 4 (это типичный прием). А теперь задумаемся: если здания сносятся на законном основании, если совесть у тех, кто сносит, чиста, если никакие ценности при этом не уничтожаются, — зачем такая спешка и таинственность, дорогие воскресные и ночные работы?

Напомним, что при участии архитектора Б. Иофана был снесен в свое время собор Казанской Богоматери на Красной площади (см. выше). Принципы, усвоенные под руководством Кагановича, полностью осуществляются в наши дни.

Подлинным шедевром среди заключений по проектам охранных зон является резолюция бывшего руководителя мастерской № 12 «Моспроект-1» А. Б. Гуркова по дому Филиппова XVIII в. (охранный № 67, проект 1962 г.):

«Рассмотреть вопрос о снятии объекта с охраны и последующем сносе.

Гурков»

Здесь мы не найдем даже элементарных «обоснований» — а ля Иофан и Бреннер, — товарищу Гуркову это не нужно. И не удивительно: он разоблачил себя проектом реконструкции Замоскворечья. Он является основным инициатором сноса церкви XVII в. Иоакима и Анны на Якиманке и палат XVII века по М. Якиманке, дом 13. А сколько выломано сейчас в Замоскворечье! — в том Замоскворечье, которое содержит 46 памятников, состоящих на охране; всего их (по данным всех обследований) 79, что примерно составляет более 250 зданий.

Вспомним, что Торговая сторона Новгорода, объявленная сейчас зоной особо строгого регулирования за-

стройки, находится в том же положении композиционно, что и Замоскворечье. Она противостоит более высокой кремлевской стороне города. Никто не возражает против такого статуса Торговой стороны, но ведь она содержит только 22 памятника (отдельные здания) и на территории меньшей чем Замоскворечье только в 1,6 раза. Если добавить к этому, что планировка Торговой стороны XVIII-XIX в. в. и она находится в противоречии с более древней композицией, то преимущества Замоскворечья становятся неизмеримо более высокими — и планировка, и композиция одного времени, до конца XVII века.

Однако для Гуркова, по его собственному выражению, «всё это — литература». Да, его деятельность абсолютно полярна «литературе». Если из 198 готовых проектов охранных зон не утверждено 47, то из 30 проектов, рассмотренных лично Гурковым, не утверждено 16 — треть всех не утвержденных по всей Москве!

Среди памятников, попавших в высочайшую гурковскую опалу, можно назвать следующие: Даниловский монастырь, основанный в XIII веке князем Даниилом Московским, вся Кадашевская слобода XV-XVIII в. в. с памятниками XVI-XIX в. в., усадьба дьяка Аверкия Кирилловича с церковью Николы на Берсеневе (Берсеневская набережная — памятник, который вы встретите во всех мировых изданиях по архитектуре России, церковь XVII века Успенская в Казачьей слободе и т. д.

Наконец, в минувшем году произошло весьма неприятное для сего зодчего событие — он снят с занимаемой должности. Вы думаете, за свои деяния по уничтожению памятников? Нет. Вот приказ начальника Глав АПУ за № 149 а/с от июля 1970 г.:

«Гуркова Абрама Бенциановича — руководителя архитектурно-проектной мастерской № 15 Управления по проектированию «Моспроект-2» за недостойное поведение при вы-

СУДЬБА РУССКОЙ СТОЛИЦЫ

езде в загранкомандировку от занимаемой должности освободить.

Основание: письмо Главного таможенного управления от 12 июня 1970 г. № ГТУ-114-2/4047».

Приказ подписан М. В. Посохиним. Столь обтекаемая формулировка — «за недостойное поведение при выезде в загранкомандировку» — вполне типичная и показывает откровенное желание скрыть истину. Лишь основание — письмо ГТУ — дает некоторые возможности догадаться о том, что же это за «недостойное поведение».

Но, как должно быть понятно каждому, товарищ Гурков хоть с должности и снят, а продолжает по-прежнему работу в мастерской, осуществляя свой преступный проект уничтожения Замоскворечья. Все перечисленные здесь архитекторы, в том числе и Гурков, сегодня могут гордиться высокой наградой — орденом Ленина.

К сожалению для руководства Глав АПУ, не все архитекторы думают (и думали) так же, как они. Им приходится управлять огромным коллективом, в котором немало честных зодчих и инженеров. Много в строительстве Москвы сделано хорошего, нужного: необычайно выросла сеть детских учреждений, клубов, школ, спортивных сооружений, учреждений общественного питания и бытового обслуживания.

И у многих архитекторов возникает внутренняя боль от того, что всё это делается в рамках антипатриотического проекта Генплана Москвы. В условиях всё более развивающейся оппозиции руководство Глав АПУ делает всё, чтобы зажать критику. Оно уже добилось того, что с критикой выступает кто угодно, но не архитекторы. Приятным исключением явилась небольшая серия статей в журнале «Архитектура СССР», где лучшей была статья заместителя председателя Госкомитета по жилому и гражданскому строительству

при Госстрое СССР Николая Варфоломеевича Баранова.

Вообще позиция Госстроя СССР и Госстроя РСФСР в отношении Москвы и других древних городов резко отличается в лучшую сторону от позиции Глав АПУ г. Москвы. Об этом свидетельствует постановление Госстроя РСФСР и коллегии Министерства культуры РСФСР от 31 июля 1970 г. № 36 «Об утверждении списка городов и других населенных мест РСФСР, имеющих архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, являющиеся памятниками национальной культуры, а также сохранившиеся природные ландшафты и древний культурный слой земли, представляющие археологическую и историческую ценность». В список вошла безусловно и столица России — Москва. Таково еще одно правительственное постановление (в ряду всего законодательства о памятниках), которое нагло нарушается руководством Глав АПУ.

В таких условиях «работать» Посохину и его соратникам становится труднее и труднее, и они отвечают двумя «стратегическими» приемами.

Первый: полная тайна деятельности и зажим критики. Возмущение т. Бреннера выпуском проектов охранных зон открытым чертежом — часть этой стратегии. Конечно, невыгодно, чтобы о таких проектах кто-нибудь знал (лучше бы не было вовсе), а уж тем более не хочется, чтобы выплыли их автографы на проектах. Всё, что касается русской культуры, должно быть как можно более скрыто от русского народа-творца этой культуры.

Для полного контроля над умами был выпущен приказ № 6/1202 от 13 декабря 1968 года под названием «Порядок передачи информации в печать, на радио, телевидение и кино», который гласит:

СУДЬБА РУССКОЙ СТОЛИЦЫ

«Объявляю порядок передачи информации в печать, на радио и телевидение, касающийся проектных работ и оперативной деятельности, проводимых организациями Глав АПУ:

1. Интервью и беседы с представителями печати, работающими по поручению редакции, а также опубликование статей по служебным материалам, проводить по разрешению начальников управлений и директоров организаций. В случае передачи в печать интервью или бесед, авторам требовать от корреспондентов представления для визирования текста, подготовленного к печати.

2. Фотографии и рисунки, передаваемые для опубликования в печати, представлять для согласования в пресс-центр Глав АПУ.

3. Текст статей, бесед и интервью, подготовленные для опубликования в зарубежной печати, представлять для согласования в пресс-центр Глав АПУ.

4. Тематику и текст выступлений по радио и телевидению, а также перечень объектов, демонстрируемых по телевидению, согласовывать с пресс-центром Глав АПУ.

5. По неясным вопросам, связанным с опубликованием статей, бесед, интервью и информации обращаться за консультацией в пресс-центр Глав АПУ (руководитель пресс-центра т. Дукельский Г. С., зам. руководители т. Каменкович М. С., т. Мишарин С. Д., т. Базалеев Н. К., т. Куликов С. Н.).

Кинолаборатория управления «Моспроект-1», являющаяся информационным органом Глав АПУ, согласовывает тематические планы киновыпусков с начальником Глав АПУ.

Сценарии, состав консультантов по работе над фильмами, а также подготовленные к выпуску кинофильмы утверждаются в пресс-центре Глав АПУ.

Обращаю внимание руководителей управлений и организаций Глав АПУ, что неправильная информация о работах, проводимых в системе Глав АПУ, не только способна ввести в заблуждение органы печати, радио и телевидение, но компрометировать творческую деятельность всего нашего коллектива.

Руководителям всех организаций Глав АПУ довести настоящий порядок передачи информации в печать, на радио, телевидение и кино до работников подведомственных подразделений.

Зам. Начальника Глав АПУ г. Москвы

Г. Макаревич»

Кто такой Глеб Васильевич Макаревич, хорошо видно из «Комментария отдела писем» «Литературной газеты» на письмо доктора филологических наук, члена Союза писателей СССР Е. Горбуновой «Особняк в переулке», где описан довольно обычный в Москве случай сноса памятника архитектуры конца XVIII — начала XIX в. в. в переулке А. Гайдара, д. 4. Газета обратилась за комментариями этого события к различным лицам, в том числе и к Макаревичу.

Вот его ответ:

«Извините, но мне некогда. У меня для комментариев нет ни времени, ни желания».

Мы тоже не будем комментировать эти слова, так как своим высказыванием т. Макаревич что называется разделся донага. Возможно, правда, он оттягивал время для консультации с пресс-центром Глав АПУ, ибо он вообще любитель затягивать время, как он поступил и в случае с особняком на ул. Гайдара. Письма заинтересованных организаций лежали у него в столе, а он ожидал и ожидал активно, не давая отвода другого участка на строительство дома. Этот отвод решил бы вопрос в пять минут, но тогда был бы сохранен памятник, что, видимо, не входило в интересы Макаревича.

Второй стратегический прием: проникновение в органы охраны памятников. Делается это из соображения прибрать к рукам соответствующие организации и прикрыться званием охранителя памятников.

Первое, что сделано в этом направлении уже дав-

но, до Посохина, — подчинение Инспекции по государственной охране памятников архитектуры Москвы непосредственно Глав АПУ. Сейчас Посохин добился уже большего: он проник при попустительстве отдельных лиц в центральный Совет Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры, хотя его туда не выбирали. На последнем Пленуме Центрального Совета он сидел в президиуме, участвовал в ревизионной комиссии и делал один из основных докладов. Так как по постановлению правительства все проекты в исторических городах должны согласовываться с Обществом, то скоро сам Посохин одной рукой будет делать проекты со сносом памятников, а другой рукой их согласовывать.

Но сама себя раба бьет, козь не чисто жнёт, — деятельность Глав АПУ привела к целой серии крупнейших идеологических ошибок и градостроительных ляпсусов.

Сначала о ляпсусах: Москва представляется нашим зодчим чем-то вроде недавно очень модного «совмещенного санузла» гигантских размеров. Для того, чтобы убедиться, приведу слова другого заместителя Посохина — Николая Николаевича Уллеса:

«В генеральном плане Москвы... определяются основные направления дальнейшего развития одного из крупнейших городов мира, центра промышленности, науки и культуры — столицы СССР в период развернутого строительства коммунизма».

Далее мы читаем:

«Зарубежные столицы и крупнейшие города имеют существенные недостатки, обусловленные огромной концентрацией производства, населения и транспортных средств. Отсутствие открытых пространств для отдыха и создания нормального санитарно-гигиенического режима во многом ухудшает жизнь населения. Практика показывает, что все эти недостатки усугубляются по мере роста этих городов».

Эти слова находятся в противоречии с идиллическим тоном первого высказывания. Действительно, раз Москва «крупнейший» город, то ему тоже присуща «огромная концентрация производства, населения и транспортных средств». Чтобы заметить это, не нужно быть даже специалистом, тем более, что Москва и Токио — две столицы в мире, где создан «центр промышленности, науки и культуры» в одной каше. Правильно, что во всем мире «эти недостатки усугубляются по мере роста этих городов», но слова «практика показывает» прежде всего на сто процентов относятся именно к московской практике.

Ниже Н. Н. Уллас перечисляет отрасли московской промышленности: «точное машиностроение, приборостроение, радиотехника и электроника, производство товаров народного потребления», — нет только тяжелого машиностроения, добывающей промышленности, тяжелой металлургии и сельского хозяйства. Правда, сельское хозяйство и металлургия в Москве уже есть (например, совхоз «Гигант», завод Вторчермет и др.). Тут же Уллас оговаривается, что «обеспечение высоких темпов развития промышленности» будет достигнуто без увеличения численности кадров, но дальше, противореча сам себе, утверждает:

«Из общей потребности населения Москвы на расчетный срок в пределах МКАД составит 6,6-7 млн. чел.».

Последнее явно предлагает нарушение постановления июньского пленума ЦК ВКП(б) и положения Программы КПСС (см. выше).

Вся эта градостроительная сумятица привела к тому, что в итоге созданы антисанитарные условия, даже лесопарковый пояс почти весь перерыт зонами вредности предприятий; на улицах города страшный изнуряющий шум, в Москву стягиваются продовольствие и промтовары отовсюду, стягиваются и новые люди.

Уллас признает:

СУДЬБА РУССКОЙ СТОЛИЦЫ

«Изучение возрастной структуры и демографические прогнозы показывают, что население Москвы имеет тенденцию к «старению» (то есть, смертность превышает рождаемость) и, без проведения специальных мероприятий, направленных на базе возрастной структуры, не обеспечивает воспроизводство на базе естественного прироста».

Как же предлагает Уллас остановить умирание города? Может быть, «специальные мероприятия» будут направлены на «рациональное, равномерное размещение» московской промышленности по территории СССР (см. Программу КПСС), то есть речь идет о выводе вредных и ненужных Москве предприятий? Нет! Будет так:

«Предварительные расчеты показывают, что даже для достижения на расчетный срок численности населения в 6,6-7 млн. чел. и удовлетворения потребности Москвы в кадрах, необходимо предусмотреть механический прирост населения порядка 30 тыс. чел. ежегодно, в основном за счет молодых трудоспособных возрастов».

Слов нет! Люди «молодых трудоспособных возрастов» по «30 тыс. чел. ежегодно» будут помещаться в московскую мясорубку, в те вредности, которые уже убивают москвичей.

Это ляпсусы, которые граничат с преступлением. Остается сказать, что гордость московских зодчих тем, что Москва является «одним из крупнейших городов мира», не случайна — это их цель с самого начала, с Генплана 1935 г. Зачем им это нужно, уже говорилось.

Сегодня мы найдем подтверждение этому хотя бы в докладе начальника отдела градостроительной экономики Глав АПУ Бориса Леонидовича Шлюммера на той же конференции 1969 года:

«...Практика реконструкции крупнейших магистралей Москвы в довоенные годы и осуществленных в настоящее время работ по комплексной застройке проспекта Калинина показывают, что для крупных и крупнейших городов страны, по на-

шему мнению, может быть обеспечен подлинный градостроительный и экономический эффект только в результате активного вторжения в застроенную часть города со сносом всех зданий и сооружений, попадающих в зону реконструкции, вне зависимости от их морального и физического износа».

Об «экономическом эффекте» можно судить по строительству ул. Горького, которую Шлюммер имеет здесь в виду, — стоимость сносов по старой Тверской и срытие на 1,5 метра ее рельефа превышает стоимость всех зданий, построенных на этой улице, тем более, что стоимость сносимых уникальных памятников вообще не поддается определению. То же самое относится к проспекту Калинина.

Обратитесь к началу анализа деятельности московских градостроителей. Там Шлюммер предлагает уничтожить вообще всю историческую застройку. Оговорка насчет памятников не может, надеюсь, приниматься всерьез, так как, во-первых, памятники немыслимы вне их исторической среды, во-вторых, по Шлюммеру, ее, конечно, надо всю снести как можно быстрее, «без соблюдения какой-либо очередности», потому что среди этой застройки могут оказаться памятники «истории, культуры и архитектуры», неизвестные науке, и, в-третьих, историческая застройка — часть комплексного памятника древнерусского градостроительства — древней Москвы, а значит ее надо уничтожить. Да, деятели Глав АПУ абсолютно последовательны в своих стремлениях.

И тут мы опять приходим к идеологии воинствующего антирусского шовинизма. Чудовищный бред о разрушении «столицы русского народа» осуществляется Посохиным и иже с ним, осуществляется без военных вторжений — просто захватом руководящих постов в архитектуре и полной перестройкой Москвы, которая в скором времени станет обычным городом серого космополитического стиля, за которым в виде очередного издевательства над Россией сохранится лишь древнее

имя столицы. Вот как описывается, например, проект реконструкции центра Москвы, выполненный Леонидом Павловым:

«У Леонида Николаевича Павлова, одного из своеобразнейших наших архитекторов, главная идея композиции центра примечательна особым, так сказать, географическим, ландшафтным подходом...

По главной оси... идет у нас большой диаметр-магистраль Север-Юг от телебашни в Останкино через нынешнюю улицу Жданова, по территории административного здания возле Василия Блаженного, через Москворецкий мост, Замоскворечье к Коломенскому. Его пересекает второй диаметр Запад-Восток: проспект Калинина, который, «нырнув» под Кремль, выходит на поверхность, чтобы продолжаться вдоль Яузы и выйти на шоссе Энтузиастов.

Эти магистрали заменяют (?!) радиальную (!) систему магистралей.

Столичный центр располагается в пределах Садового кольца и по диаметру Север-Юг. Замоскворечье полностью расчищается от старой застройки (остаются только исторические памятники), превращается в Южный парк, и в нем воздвигается 60-ти этажный главный политический центр государства, с дворцом Советов во главе. Между ними и Кремлем мы предполагаем срыть Болотную площадь и создать от Каменного до Москворецкого моста — главный водоем Москвы, в котором станет отражаться Кремль»¹⁴.

Начало фашистскому морю на месте Болотной площади, которая к тому же имеет пять памятников и является местом военной слободы Дмитрия Донского и Большого Государева сада XVI — XVII в. в.

А Кремль будет отражаться не в Москва-реке, где он уж очень велик, когда смотришь на него от Софийской набережной (ныне — набережной Мориса Тореза),

¹⁴ «Москва» № 1, 1967 г. — «Москва завтра и послезавтра» (Репортаж из Глав АПУ г. Москвы).

а от Кадашевской набережной, где на краю «главного водоема» мы увидим маленький резной «терем-теремок» с башенками и церквушками, а не грандиозную мощную древнюю крепость.

А теперь сравните предложения архитектора Павлова с мечтами фашистского бургомистра из романа Бернгардта Келлермана «Пляска смерти».

«Весь город будет покрыт зеркально гладким асфальтом, по которому с огромной скоростью понесутся комфортабельные автомобили...»

Новые земли будут присоединены к городу, на них расселятся тысячи, многие тысячи людей, ибо через 10 лет население города возрастет вдвое (прямо по Генплану 1935 г. — автор).

Новые площади украсят город, новые улицы и магистрали. Всё старое, всё, что мешает, должно посторониться. Долой старое!

Надо, чтобы большие грузовики беспрепятственно пронеслись по улицам.

К чёрту старый хлам!

Он говорил о здании гигантского масштаба... в этом здании предусматривается большой концертный зал, залы для собраний, совещаний и конгрессов: 12 этажей — оно будет выше собора...»

«Запланированная магистраль Север-Юг не переставала занимать бургомистра. Гауляйтер требует немедленного сооружения магистрали, он считает, что в ближайшем будущем мы должны без задержки пересекать город во всех направлениях!.. Если старое стоит нам поперек дороги, то его надо убрать, как бы оно ни было прекрасно»¹⁵.

Оба текста почти совпадают, только Л. Павлов — с большим размахом: не 12, а 60 этажей, не одну магистраль Север-Юг, а еще и Восток-Запад...

¹⁵ Б. Келлерман. «Пляска смерти». М. 1955 г. Стр. 413, затем — 446.

Как могли дойти наши зодчие до такой близости к совершенно чуждой идеологии? Очень просто — через воинствующее отрицание древней культуры народа.

Что же дальше? Пожалуй, Москву поздравить не с чем. Как могло случиться, что награждены лица и организации, идущие убежденно, сознательно против общегосударственной идеологии, против всех и всяческих законов и постановлений о культуре и об охране памятников? Почему одобрено уничтожение русской культуры, культуры народа, кровью своей соединившего и отстоявшего все огромное государство? На каких патриотических чувствах можно будет выиграть грядущую войну?

Нет ответа на все эти вопросы. Деятели Глав АПУ фактом награждения поставлены в условия полной безнаказанности, они теперь убеждены, что стоят выше государственных и общечеловеческих законов. И вот здесь-то необходимо задать вопрос «Союзу архитекторов» — понимает ли он всю свою ответственность перед народом и правительством как организация, выдвинувшая для награждения именно эти кандидатуры?

Ведь правительственные органы, утверждающие указ о награждении деятелей науки и культуры, рекомендованных солидными государственными учреждениями и организациями, не могут им не доверять. И обман этого доверия есть также нарушение законов нашего общества и государства.

О положении науки в СССР

От редакции

В августе 1968 года в Париже происходил XII Международный конгресс по истории науки и философии. Автор публикуемых ниже материалов С. Крушель был его участником. Следующий — XIII конгресс — решено было провести в Москве в августе 1971 года. Организационный московский комитет под председательством академика Б. Кедрова разослал в марте 1970 г. приглашения всем участникам предыдущего конгресса, в том числе и С. Крушелю. При этом в текст извещения московскими организаторами был внесен не совсем обычный пункт о том, что в отсутствие авторов их рефераты обнародованы не будут, а следовательно, впоследствии не будут и публиковаться.

С. Крушель, исполнив все формальные предписания для участия в XIII конгрессе, приложил к ним тезисы намеченного им доклада на тему «Тоталитарные режимы и наука» и отослал в Москву. Однако никакого ответа, несмотря на повторное обращение к Б. Кедрову, из Москвы не последовало, что лишило С. Крушеля возможности принять участие в XIII конгрессе. Тем не менее, считая, что тема о влиянии тоталитарных режимов на развитие науки в высшей степени важна, С. Крушель отослал свой готовый доклад московскому оргкомитету и секретариату Международного общества в Париже. Кроме того, он разослал участникам XII конгресса около 400 экз. своего доклада с просьбой довести в частном порядке этот материал до сведения их коллег на XIII конгрессе в Москве.

Доклад С. Крушеля состоит из следующих разделов: введение; наука и режим Мао в КНР; наука и нацистская Германия; наука в СССР: а) ленинская эпоха; б) сталинский режим;

в) послесталинский период; резюме, в конце которого докладчик вносит предложение целиком посвятить один из будущих конгрессов теме «тоталитаризм и наука».

В связи с перегруженностью нашего журнала материалами редакция нашла возможным опубликовать лишь фрагменты доклада С. Крушеля из раздела «Наука в СССР».



Ленинская эпоха начинается с октября 1917 года. Но еще задолго до этого в многочисленных теоретических работах Ленина проводится разделение науки на две категории — «буржуазную», которая квалифицируется как «лже- или псевдонаука» и носит классовый характер, и на «собственно науку» — материалистическую, марксистскую и т. д.¹ Это разделение и послужило основанием проводившейся впоследствии политической практики по отношению к науке и научным работникам: признание и поддержку заслуживало в созданном Лениным государстве только то, что укладывалось в его определение «истинной, материалистической, марксистской» науки.

Уже в первые годы после Октябрьского переворота теория относительности Эйнштейна вызывала реакцию, которая по существу мало отличалась от реакции Инквизиции на учение Галилея — Коперника о гелиоцентрической системе; требовался отказ от философских обобщений², но допускалось использование их в качестве вспомогательного средства при практических вычислениях. Такое отношение к науке длилось на протяжении десятилетий и касалось всех вновь появляющихся отраслей науки, еще не акцептированных как марксистские.

Мы не будем подробно останавливаться на периоде 1917 — 1920 гг. — лет революционной борьбы и гражданской войны. Гибель одних ученых, как и вы-

нужденная эмиграция других*, относятся скорее к непосредственным последствиям гражданской войны, чем к влиянию еще не полностью выкристаллизовавшегося в те годы тоталитарного режима. Но уже в последние годы ленинского периода (1920—23 гг.), когда гражданская война была закончена, начинается систематическая унификация научных исследований. По отношению к тем, кто не хотел поддаваться этой унификации, начинают проводиться репрессивные мероприятия. Так, в организованном по постановлению советского правительства Соловецком концентрационном лагере, наравне с представителями бывших привилегированных классов, появляются и ученые, как, например, проф. Кривош-Ниманич, глубокий старик восьмидесяти четырех лет, специалист по литературе древнего Востока. Вряд ли для ленинского режима он мог представлять какую-либо опасность. Единственная причина, по которой он оказывается в Соловках, та, что он — представитель «буржуазной лженауки»³. Но это не единственное имя, встречающееся в списках заключенных в Соловецком концлагере в ленинский период. Отметим еще нескольких: доцент Приклонский и проф. Макаров — историки, художник Браз — заместитель хранителя Эрмитажа и др.⁴.

В 1922 году проводится первый в Советском Союзе судебный процесс над большой группой ученых, которые затем по приговору суда высылаются за преде-

* Многие впоследствии заняли за границей ведущее положение в своих областях деятельности, как, например, проф. С. Тимошенко — в области теории упругости и сопротивления материалов, инженер М. Сикорский — в области авиа- и вертолетостроения, проф. А. Ломшаков — в области теплотехники, А. Эйхвальд — в области теоретической электромеханики, физики (см. П. Е. К о в а л е в с к и й. Зарубежная Россия. Стр. стр. 128 — 129, 150, 153, 154 и др.). — С. К.

лы Советского Союза. Но эта высылка, как и вынужденная перед тем эмиграция ряда ученых, была несравненно меньшим ударом как в плане личной судьбы этих людей, так и в плане потерь для науки: большинство выехавших смогли со временем снова плодотворно продолжать свою научную деятельность. Среди высланных из СССР в 1922 году мы можем назвать проф. С. Франка, проф. Ф. Степуна, Н. Бердяева⁵, проф. о. С. Булгакова⁶ и многих других. Большинство из них — представители гуманитарных наук; меньше было среди высланных представителей точных наук, как, например, проф. В. Стратонов — астроном и бывший декан физико-математического факультета Московского университета, или проф. Д. Селиванов — математик⁷.

В этот же период продолжается возникший в годы гражданской войны процесс уничтожения культурных ценностей, главным образом книг. Начавшееся уничтожение библиотек в качестве «топлива» в дальнейшем приобретает характер организованной и систематической конфискации книг из библиотек и перевоз их в закрытые книгохранилища; следующая ступень — сортировка оставшихся библиотечных книг на разрешаемые для выдачи и запрещенные для читателя⁸. Эти мероприятия, с одной стороны, наносили ущерб не только общему культурному уровню страны, но во многих случаях прямо нарушали или затрудняли ведение научной работы в связи с невозможностью получать необходимые пособия, источники и т. п. С другой стороны, начались трудности с получением заграничной научной литературы⁹. Затруднения с ней, первоначально объяснявшиеся валютными трудностями, в действительности имели под собою идеологическую почву — стремление оградить советских ученых от влияния «буржуазной лженауки». Последнее подтверждается тем, что и пос-

ле стабилизации положения страны ограничения эти продолжались и продолжают в большой степени до настоящего времени.

В качестве характерного примера зажима всего выходящего за рамки допущенного режимом стоит привести случай проф. Щукарева из Харьковского технологического института. Проф. Щукарев, занимавший в этом институте кафедру физической химии, имел в течение многих лет обычай читать факультативный курс лекций — введение в философию и историю философии. Его концепции не всегда отвечали официальной марксистской идеологии. Последний раз ему еще удалось начать чтение этого курса зимой 1923 года. Это был уже период нэпа, то есть некоторого послабления режима. Однако вскоре после первых лекций в местной газете появилась разносная статья под заглавием «Карл Маркс и проф. Щукарев», в результате чего его лекции были запрещены раз и навсегда. За пределы программных тем физической химии проф. Щукарев уже до самой своей смерти не имел возможности выйти¹⁰.

Наконец, следует отметить стремление власти к прекращению обмена научной информацией с внешним миром, т. е. к полной изоляции ученых, что трагически отразилось на дальнейших возможностях научной работы в СССР.

Ввиду краткости ленинского периода, окончившегося временным отступлением по экономическим причинам (нэпом), который отразился и на других отраслях жизни, процесс унификации научной деятельности несколько замедлился. В период нэпа снова появилась возможность (правда, ограниченная) получать иностранную литературу и пользоваться ею. Но уже во второй половине двадцатых годов, особенно к концу их, наступает резкий перелом. Возможности получения ино-

странной литературы снова резко сокращаются, любая связь с заграничными коллегами, даже совершенно не выходящая за рамки чисто научных вопросов, делается всё более опасной¹¹.

Вскоре страна подходит к следующей стадии взаимоотношения режима и науки — к арестам, а затем и к показательным процессам; ограничимся только несколькими примерами¹².

Первым такого рода процессом был Шахтинский, в 1928 году, где среди чистых практиков горного дела были и имена таких, как инженер Данчич, один из ведущих работников по выявлению возможностей восстановления Донбасса после разрухи и его дальнейшего развития. Работы, возглавлявшиеся им, были затем опубликованы в трудах комиссий и несомненно представляют большую ценность, в частности, и с точки зрения истории техники. Формальное обвинение для всех арестованных было — *вредительство и экономический шпионаж*.

Вторым процессом того времени следует назвать процесс СВУ — Спилки Вызvolення Украины. Главным обвиняемым по этому процессу был историк проф. Ефремов, взгляды которого на взаимоотношения России и Украины в прошлом несколько отличались от официально принятых в тот период. Судя по доступным в те годы материалам (пресса по процессу), серьезно говорить о политической угрозе Советскому Союзу со стороны проф. Ефремова, конечно, не приходится. Тем не менее он был осужден и получил соответствующее количество лет. Когда автор настоящей работы попал по делу Промпартии в 1931 году в Харьковскую тюрьму ГПУ, проф. Ефремов всё еще находился там.

Далее, в начале 1929 года следует «дело» геолога проф. Пальчинского и инженера Мека (известного железнодорожного деятеля), о котором страна узнала из прессы. Никакого процесса в данном случае не было: оба были обвинены во вредительстве и расстреляны¹³.

Наиболее известным из процессов начала тридцатых годов и несомненной вершиной террора этого периода был процесс «Промпартии». Он охватил сотни и тысячи практических и научно-технических работников промышленности. Назовем лишь некоторые, сохранившиеся у нас в памяти имена: проф. Н. И. Сушкин из МВТУ*, проф. Кукель-Краевский — специалист в области планирования энергетики, проф. Чарновский — специалист по организации производства, проф. Горев — специалист в области высоковольтных электропередач, проф. Осадчий — специалист по технике связи и один из заместителей председателя Госплана, проф. Оксамитный — гидротехник и автор проекта Волго-Донского канала. На его судьбе остановимся подробнее. Поскольку Волго-Донской канал проходит через две области, то проф. Оксамитный оказался объектом конкуренции двух областных ГПУ — Ростовского (тогда Северокавказского края) и Царицынского (тогда Сталинградского края). В результате такого соперничества, сопровождавшегося постоянными перевозками его из одного ГПУ в другое, он, при пересадке на станции Лихая, сумел найти возможность броситься под проходивший мимо поезд и тем оборвать это «социалистическое соревнование»¹⁴.

Главным «персонажем» этого процесса был проф. Л. Рамзин, фигурировавший в качестве третьего председателя этой якобы существовавшей вражеской организации (первым был объявлен ранее расстрелянный проф. Пальчинский, вторым — умерший при неизвестных обстоятельствах во время следствия инженер С. Хренников, бывший главный инженер Сормовского машиностроительного завода, а затем руководящий работник Госплана в Москве). Фигура проф. Рамзина, представленного во время процесса в роли агента-provokatora, явно вскрывает цель всего процесса: ликви-

* Московское Высшее Техническое Училище. — С. К.

дацию остатков независимо мыслящих людей в научно-технических кругах. Можно с полной уверенностью сказать, что этим процессом был нанесен сильнейший удар как по чистой науке и ее развитию в СССР, так и по практическим приложениям ее, в частности, в плане реализации первых пятилеток индустриализации¹⁵.

Вслед за процессом Промпартии последовал ряд других, как, например, процесс «Союзного бюро меньшевиков». В действительности это было «мероприятие» по уничтожению ведущих экономистов, теоретиков планирования народного хозяйства, объективный подход которых к решению поставленных задач не отвечал требованиям высшего возглавления КПСС [ВКП(б)]. Среди них следует в первую очередь отметить проф. В. Г. Громана¹⁶. Но поход против плановиков-экономистов не ограничился этим. Одной из следующих жертв был Г. Фельдман, автор нескольких трудов по теоретическим методам экономических исследований, важнейшая из которых — его работа «К теории темпов роста народного дохода», опубликованная в журнале «Плановое хозяйство» в 1928 году. Последние его труды были опубликованы в 1930 году, а затем как автор, так и его работы в области математической экономики канули в забвение. Только в 1963 году Институт экономики Польской Академии Наук снова извлек их из небытия и опубликовал с дополнительными статьями-комментариями в специальном номере журнала «Студия Экономичне». Личная судьба Г. Фельдмана нам не известна¹⁷.

Отметим еще расправу над ТКП — «Трудовой крестьянской партией», подготовлявшуюся, но не проведенную в качестве открытого процесса. По оценкам того времени, количество арестованных во всех слоях населения, связанных с сельским хозяйством, — ученых, агрономов, ветеринаров и других, а также сельских хозяев (крестьян) — достигало более ста тысяч. Главными фигурами на этом процессе намечались проф. Кон-

дратьев, экономист («Цикл Кондратьева»), специалист по экономике сельского хозяйства, и проф. Чаянов. Оба, насколько нам известно, так и исчезли бесследно среди массы арестованных и заключенных в лагерях ГПУ. Фактически в каждом из проводившихся тогда процессов, в том числе и в военных, были ученые, как, например, при разгроме Ленинградских высших военных училищ¹⁸.

Часть арестованных специалистов попадала в так называемое ОКБ ЭКУ ГПУ (Особые конструкторские бюро экономического управления ГПУ) и там, по меньшей мере, не подвергались прямому уничтожению (как, например, расстрелянные Пальчинский и Мек) или более медленной гибели на общих каторжных работах. Остальные же, не попадая в это привилегированное положение, гибли в лагерях. Описание ОКБ, в более поздний период получивших название «шарашек» или «шараг», появилось в последние годы в произведениях «Самиздата»¹⁹.

Политика террора против ученых достигает своей вершины в 1930-32 гг., а затем наступает некоторый спад с тем, чтобы с новой силой вспыхнуть во второй половине тех же тридцатых годов. Из процессов и имен этой второй вершины предвоенного террора, направленного и против научных сил страны, отметим дело «генетиков», в котором в качестве агента-provokatora со стороны власти отличился Т. Лысенко и погиб ученый с мировым именем Н. И. Вавилов; нормальное же развитие генетики в Советском Союзе было приостановлено по меньшей мере на четверть века — с середины тридцатых до конца пятидесятых или начала шестидесятых годов²⁰.

В деле «генетиков» особенно явно проявило себя прямое вмешательство партийного возглавления КПСС в область науки, с претензиями на диктат. Так, уже в послевоенный период, когда давление на генетику всё

продолжалось, можно было встретить в прессе высказывания следующего рода:

«На заседании Сельскохозяйственной Академии 7 августа 1948 года судьбу генетики, или доклада по этому вопросу, решил не доклад или дискуссия, а слова Т. Лысенко — 'Центральный Комитет Партии проверил и одобрил мой доклад'»²¹.

Всякие дискуссии после этого были излишни.

Плодом этой политики партии является, например, заявление проф. Жебрака, направленное в виде письма в газету «Правда»:

«Пока Партией допускались оба направления в генетике и существовавшие еще между ними расхождения мнений рассматривались как плодотворная дискуссия, я упорно защищал свое мнение... но теперь, когда я убедился, что основы мичуринского направления в советской генетике утверждены Центральным Комитетом Коммунистической партии (большевиков) СССР, я как член партии считаю невозможным дальше придерживаться этих взглядов, которые Центральным Комитетом нашей партии объявлены ложными»²².

Как второй пример конца предвоенного периода следует упомянуть «дело» Туполева, в котором он обвинялся в «продаже секретов советского авиастроения германской фирме 'Мессершмидт'». Абсурдность этого обвинения не требует доказательств, но оно привело к массовым арестам среди ведущих и рядовых конструкторов самолетостроения. Многие из них со временем оказались заключенными в специально для этого созданных «шарагах». Продуктивность творческой деятельности поставленных в такие условия людей весьма проблематична, а тот факт, что, как пишет автор самиздатовского труда «Туполевская шарага», — более сотни конструкторов так и не удалось разыскать среди концлагерников (то ли они там затерялись, то ли погибли неизвестно, — скорее второе²³), явно говорит о наиболее существенном результате такого использования

научных сил в системе «шарашек ОКБ» — уничтожении людей, расточительстве творческой научной энергии и отставании во многих областях науки. От рассмотрения этической стороны этих проблем мы в этой работе сознательно воздерживаемся, ограничиваясь только передачей фактов.

Послевоенный период сталинской эпохи характеризуется созданием и использованием новых «шарашек»²⁴. Финал ее — пресловутое дело «кремлевских врачей-отравителей», дело, которое почти на другой день после смерти Сталина было объявлено полным блефом, но по которому люди уцелели случайно, благодаря неожиданной смерти диктатора²⁵.

В тот же сталинский период своеобразная судьба постигла языкознание. Если в начале этого периода в области языкознания безраздельно господствовала теория академика Мара, то в последние годы главным авторитетом стал сам И. Сталин после его выступления в 1950 г. на тему «Марксизм и языкознание». Можно вполне допустить, что отдельные ученые способны ошибаться и что выдвигаемые ими теории могут оказаться неверными. Но в случае академика Мара было иное: началось с безоговорочного признания и поддержки его теории, кончилось столь же безоговорочным отрицанием ее со стороны партийно-государственного аппарата власти, принявшего на себя и в этой области роль суперарбитра.

Кроме высказываний И. Сталина по вопросам языкознания, отметим также его работу «Экономические проблемы социализма в СССР», вышедшую в октябре 1952 года к XIX съезду КПСС. Оба указанных труда, объявленные по их выходе в свет последним словом в этих научных областях, сразу после смерти Сталина были преданы полному забвению²⁶.



Особо следует отметить уход ученых из Советского Союза в сталинский период. Ощущая невозможность свободно и плодотворно работать в условиях того времени, некоторые представители науки, попадая за пределы СССР официальным путем (служебные командировки и т. д.), предпочитали оставаться за границей в качестве невозвращенцев. Наиболее известные примеры — академик В. Н. Ипатьев, А. Н. Чичибабин²⁷, В. Леонтьев. Естественно, что в условиях Советского Союза общение оставшихся с уехавшими было или совершенно невозможно, или по меньшей мере связано с большим риском подвергнуться репрессиям²⁸. Что же касается проф. В. Леонтьева, известного ныне американского экономиста, то его первые работы начинающего тогда ученого были опубликованы в СССР в 1925 г. в журнале «Плановое хозяйство» № 12; но с тех пор и до конца пятидесятых годов он был «забыт», и лишь в 1958 году впервые стали пользоваться его заграничными трудами²⁹.

Лично для ученых, даже при временных трудностях за границей, такой выход, как невозвращение в СССР, был в высшей степени благополучным по сравнению с судьбой тех, кто попадал в машину концлагерного уничтожения. Что же касается развития науки в оставленной ими стране, то их уход несомненно означал для нее большие потери.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ В. И. Ленин. Собрание сочинений. IV издание. Т. 13, стр. 452-455; т. 33, стр. 201-210.

² Philipp Frank. Modern science and its philosophy. Cambridge: Harvard University Press, 1949.

³ Борис Ширяев. Неугасимая лампада. Стр. 119. Издательство им. Чехова. Нью-Йорк, 1954.

⁴ Там же, стр. 121, 134, 368.

⁵ Б С Э. 2-е издание. Т. 4, стр. 624.

⁶ Прот. С. Булгаков. Автобиографические замѣтки. Стр. 35, 43, 49. YMCA-PRESS, Париж, 1947.

⁷ П. Е. Ковалевский. Зарубежная Россия. Стр. 125, 152. Librairie des cinq continents. Paris, 1971.

⁸ Б. Ширяев. Неугасимая лампада. Разные места.

⁹ Личные воспоминания.

¹⁰ То же.

¹¹ Gustav A. Wetter S. J. Philosophie und Naturwissenschaft in der Sowjetunion. Rororo, 1958.

¹² В ряде случаев мы приводим данные на основе личного опыта и воспоминаний.

¹³ С. Кирсанов. «Процесс Промпартии». «Посев» 1949 г., №№ 49 и 50.

¹⁴ По сообщению очевидцев, бывших затем в ОКБ и концлагерях.

¹⁵ С. Кирсанов. «Процесс Промпартии». «Посев» за 1949 г., №№ 50 и 51.

¹⁶ «Русская мысль» от 16 сентября 1971 г.

¹⁷ *Studia Ekonomiczne*. Warszawa, 1963. Журнал Польской Академии Наук, Экономический институт.

¹⁸ Личная встреча в ВИШЛАГе с рядом профессоров этих училищ.

¹⁹ А. Солженицын. В круге первом. Собрание сочинений. Т. 3. Издательство «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1969, и Г. А. Озеров. Туполевская шарага. Изд. М. Чудина и С. Машич. Белград, 1971.

²⁰ Ив. Сергеев. «Путь подлости и преступлений», «Грани» № 70/1969 г., стр. 121; Ж. А. Медведев. «Биологическая наука и культ личности», «Грани» № 70, стр. 127 и № 71 стр. 78; Г. А. Озеров, стр. 10.

²¹ Gustav A. Wetter S. J., стр. 81. Обратный перевод с немецкого.

²² Там же, стр. 81-82.

²³ Г. А. Озеров, стр. 29.

²⁴ А. Солженицын. В круге первом.

²⁵ Вас. Гроссман. Всё течет. Стр. 20-22 и 28-29. Издательство «Посев», Франкфурт-на- Майне, 1970.

²⁶ БСЭ, издание 2-е. Статья, посвященная Сталину; БСЭ, издание 1-е и издание 2-е, статьи об языкознании.

²⁷ П. Е. Ковалевский. Зарубежная Россия. Стр. 144-145.

²⁸ Вас. Гроссман. Стр. 42.

²⁹ «Вопросы экономики», № 10, стр. 29. Журнал Института Экономики АН СССР. Москва, 1958; Сборник «Применение математики в экономических исследованиях», стр. 18. Издательство Соцэкгиз. Москва, 1959.

Учение о человеке св. Григория Паламы

Подобно тому, как светильник, перед тем как погаснуть, вспыхивает иногда на мгновение усиленным пламенем, так и византийская блистательная культура, склоняясь к закату, украсилась еще раз сиянием духовного горения и интеллектуального расцвета. На богословском небосклоне XIV века засветила звезда первой величины — св. Григорий Палама, святитель фессалоникийский.

Св. Григорий Палама родился в 1296 г., в Константинополе. Отец его, Константин, был сенатором и приближенным императора Андроника II Палеолога. Получив хорошее образование и пользуясь расположением императора, Григорий мог сделать блестящую карьеру при дворе. Однако его не влекла мирская слава. Двадцати двух лет от роду, вместе с двумя своими братьями, он отправляется на св. гору Афон, где принимает монашеские обеты и затем рукополагается в священный сан. Впоследствии вся его семья, родители и братья, тоже приняли постриг. Это было время высокого духовного накала, когда многие люди заботились о будущей жизни больше, чем об этой временной.

В XIV в. в Западной Европе настал ренессанс аристотелизма. Западная философская и богословская мысль жадно впитали в себя суть перипатетической* философии, признав ее официальным учением Церкви (томизм). Богословский Восток, напротив, всё более

* Аристотелевской. — И. Г.

и более проникался платонизмом, скорее — неоплатонизмом в его очищенном от нехристианских элементов издании. Это, конечно, обобщение, но приблизительно верно изображает настроение умов на Западе и на Востоке. Борьба двух течений отразилась и на судьбе св. Григория Паламы.

В 1333 г. калабрийский монах Варлаам, представитель западного «положительного» богословия, начал критиковать учение восточных мистиков, «исихастов» (безмолвствующих), на защиту которых встал св. Григорий. Спор разгорелся. Варлаам обратился к патриарху того времени, Иоанну Калеке, неприязненно настроенному по отношению к исихастам, с просьбой высказать свое авторитетное мнение. Тот осудил исихазм, на защиту которого, однако, поспешило всё святогорское население во главе с Филофеем, ставшим впоследствии патриархом константинопольским. В 1341 г. на константинопольском соборе мнение Варлаама было осуждено. Однако уже в 1343 г., при изменившихся дворцовых обстоятельствах и направлениях, св. Григорий был вызван в столицу на суд, в результате которого его заточили в один из столичных монастырей. Там он пробыл около четырех лет. В 1347 г. на императорский престол вззошел Иоанн Кантакузин. Палама не только был освобожден из заточения, но даже был избран на Фессалоникийскую кафедру. В 1351 г. созван был новый собор в Константинополе, на котором повторно было осуждено учение Варлаама и оправдано учение Паламы.

Жизненные обстоятельства вынуждали епископа Фессалоникийского путешествовать между Салониками, Константинополем и Афоном. Во время одного из путешествий св. Григорий попал в плен к пиратам и был продан в рабство, из которого был выкуплен лишь два года спустя. Скончался св. Григорий в 1359 г. и вскоре после смерти был канонизирован патриархом Филофеем.



Св. Григорий Палама был великим и вдохновенным мистиком. В истории православной богословской мысли он занимает значительное место не только потому, что собрал воедино религиозно-богословское наследие святых отцов Церкви, но и потому, что сумел переплавить разнообразный патристический* материал в одно синтетическое целое. Будучи мистиком по душе и философом по образованию, он был в состоянии данные внутреннего опыта выражать в концептуальных** категориях, что было особенно важно при догматических полемиках, в которых он столь успешно выступал в защиту православного учения. В частности, он стал известен во всем христианском мире как поборник исихазма, аскетико-мистической традиции православного Востока. Не касаясь темы исихазма в этой статье, мы займемся учением св. Григория Паламы о природе и сущности человека.

БОГОСЛОВСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Перед человеческой мыслью стоят три основных темы: о мире, о человеке и о Боге. Эти темы взаимосвязаны: решение одной проблемы обуславливается решением двух остальных. Поэтому и науку о человеке (антропологию) св. Григория следует рассматривать на фоне его учения о мире (космологии) и в свете его учения о Боге (теологии, теогонии).

В самом начале отметим, что св. Григорий, согласно православной традиции, признает необходимость принятия двух основных типов богословия: положи-

* Святоотеческий. — И. Г.

** Концептуальный — имя прилагательное от слова «понятие». — И. Г.

тельного (катафатического) и отрицательного (апофатического). Мы впредь будем пользоваться греческими терминами, так как в вышеприведенном переводе эти термины грешат некоторой двусмысленностью: положительный — хороший, отрицательный — плохой. По существу же эти термины следовало бы переводить как метод утверждений и метод отрицаний, однако это ввело бы некоторую синтаксическую громоздкость.

Следующей структурной особенностью православного богословия является его антиномичность. Антиномия есть непреодолимое логическое противоречие, в которое попадает наш рассудок, когда хочет сочетать абсолютное с относительным, вечное с временным, бесконечное с конечным и т. п. Антиномия есть одновременная доказуемость двух противоположных утверждений. Иначе можно еще определить антиномию как логическое противоречие, за которым (в трансцендентном, запредельном плане) скрывается реальная гармоническая система противоположностей. Антиномия по-нуждает нас вместо выбора «или — или» принять «и — и». Рассудок не переносит антиномий, он всегда пытается свести всё воедино, либо из одного вывести всё. Рассудок поэтому монистичен, и когда им пользуются в богословии, то это как правило приводит к ереси. Монистичны по существу и все утверждения сектантов, которые строят свои учения, исходя из отдельных текстов Св. Писания.

Дискурсивный разум необходим в области познания, но не исключителен. В последнее время даже в науках отводится всё более и более почетное место интуиции (например, в теории изобретений) и даже антиномичности (ср. учение Нильса Бора о равнодостоинстве и равнонеобходимости двух теорий — корпускулярной и динамической — при объяснении «поведения» электронов). А что уж говорить о философии и бого-

словии? Здесь «диадичность»* и «антиномичность» встречаются постоянно, и в зависимости от того, как снимаются эти антиномии, определяется степень высокопробности данной системы.

Эти предпосылки всегда надо иметь в виду при рассмотрении учения св. Григория Паламы.

Перед тем как перейти к его учению о человеке, мы должны сказать несколько общих слов о его богословии. Повторяя мысли своих предшественников, он учит, что Бог сотворил мир из ничего, из небытия, руководимый любовью и жаждой творчества. О любви и радости творчества учит нас Св. Писание на доступном нашему пониманию языке. Эти сущности или свойства присущи Богу в превосходной степени, и мы о них можем иметь лишь тусклое и бледное представление. Между абсолютным, запредельным Богом и тварно-относительным миром нет никакой связи — ни логической, ни физической. Между Творцом и тварью лежит пропасть «ничтожности», которую нельзя заполнить, вводя постепенность, изобретая посредствующие звенья, как это пытались делать разного толка лжегностики. Эта абсолютная «инаковость и иность» Бога и мира — один из полюсов богословской реальности, и если бы довести ее до предела, то мы бы пришли к абсолютному агностицизму**, осужденному Церковью в качестве ложного учения. Эта часть апофатического богословия сосредотачивает свое внимание на том, что Бог не есть (или чем Бог не является), подчеркивая неадекватность (несоответствие, несоравность) наших относительных и условных утверждений о Боге. Сюда надо отнести и то учение, которое подчеркивает невыразимость на

* Диадичность — двуполусность, тезисность плюс анти-тезисность. — И. Г.

** Агностицизм — философская теория, утверждающая, что Бог (или любая иная реальность) непознаваем либо по существу, либо вследствие природной немощи нашего разума. — И. Г.

языке понятий (дискурсии) содержания мистических созерцаний и озарений.

Однако тот факт, что Бог открывается человеку, свидетельствует о том, что человек способен принять такое откровение и что Богопознание в некоторой степени возможно.

Мир представляет собой естественное откровение, ибо как отпечаток отображает нечто от печати, так и тварь отображает нечто от Творца. Наблюдаемые во вселенной закономерности, например, являются отражением разума Творца, а красота, присущая миру, свидетельствует о красоте и гармонии внутрибожественной жизни. Кроме того, Бог открывался человеку, вдохновляя пророков вещать о Себе. И самым «насыщенным» актом откровения было воплощение, вочеловечение Бога в Лице Иисуса Христа, ипостасно соединившего две природы: человеческую и божественную. Конечно, все эти конкретные божественные выступления в этом мире суть в большей или меньшей степени символичны, «репрезентативны», ибо *относительное* никак не может адекватно выразить то, что *абсолютно*.

Согласно духу так понятого катафатического богословия св. Григорий учил, что в Боге следует различать Три Лица (ипостаси), сущность и энергию. Трехипостасная божественная сущность есть истина, данная в откровении, это есть догмат, который мы принимаем в качестве постулата веры, она не доступна дискурсивному уразумению. Однако божественная энергия, управляемая одной волей Св. Троицы, в своей обращенности к миру («ад экстра») является его трансцендентной основой; в этой «экстравертированности» божественная энергия принимает модальность, окачивается в множественность различных детерминаций, которые Палама, согласно ареопагитской традиции, называет «выступлениями, передачами, причастиями». Они именно и составляют предмет человеческого познания.

Говоря о сотворении Богом мира, Палама не может

не пользоваться антиномическими утверждениями, вроде следующих: «Бог по преизбытку Своей благодати отделяется от Самого Себя и, будучи Сам вне всего, приводит Себя во всё в силу сверхсущественной Своей способности быть вне Себя, не исходя из Себя»¹. В другом месте он добавляет: «В Боге есть неразделимое разделение и раздельное единение»², «Бог неразделимо делится и раздельно сочетается (...не терпя от этого...) ни множественности, ни сложности»^{3*}. Такие предельно абстрактные антиномические выражения бедны удобопостигаемым содержанием, но идеи, ими представляемые, хотя и непостижимые в рассудочном плане, должны быть постулируемы для объяснения возможности божественной, космической и человеческой реальности. Это есть религиозная и философская аксиома, *заглянуть за которую* человеческому уму не дано.

На фоне учения о сотворении мира Палама говорит, что Бог предвечно созерцал пробразы (парадигмы) мира, идеальные сущности вещей, которые лишь в результате творческого божественного акта обрели свое реальное существование. Эти божественные парадигмы не являются ни сами по себе существующими и пребывающими сущностями, ни миротворческими субстанциями. До создания мира они были объектами божественного мышления и существовали постольку, поскольку Бог их мыслил. В результате божественного творческого «Да будет!» — *они* стали зачатками реальностей, «семенными логосами», из которых, согласно

* На языке современной креационистической философии это можно выразить следующими словами: Бог, в аспекте Абсолюта, являет полное тождество основных элементов реальности при сохранении их совершенной разности. Креационизм — философская система, основанная в XIX в. польским учёным и философом Иосифом Гознэ-Вронским, сводящая всё сотворенное к Абсолюту и из Абсолюта выводящая всё творимое. — И. Г.

Богом же установленным законам, стала развиваться вселенная. Ибо созданная Богом праматерия, согласно выражению Паламы, была «беременной всякими возможностями».

О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА

Бог создал человека особым творческим актом, поставив его как бы на грани двух миров. Своим телом человек участвует в тварном, физическом мире, своей же душой (или духом) он обращен к своему Творцу и в какой-то степени участвует уже теперь, в этой — «околобожественной» — жизни, поскольку он создан по образу и подобию Божию.

Человек есть воодушевленное тело, а душа — воплощенный дух. «Душа, содержа тело, с которым она вместе создана, находится в теле повсюду, а не в определенном только месте тела»⁴, — говорит св. Григорий. Душа эта действует в трех силах: мыслительной, раздражительной и желательной (ум, чувства и воля).

Благодаря разумному и духовному началу человек может совершенствоваться, и это выделяет его из всей остальной твари. Восприятие человеком внешнего мира может совершаться в двух планах: он может замечать только конкретные физические явления, оценивать их и использовать для целей своего физического существования; или он может рассматривать мир как некую криптограмму Божества, созерцать физические явления в качестве символов вечных и запредельных сущностей. От того, какую роль изберет себе человек, какую экзистенциальную ориентацию он примет, зависит то, чем он становится: либо смышленным животным, либо тварным сыном Божиим. В этом втором случае логос, находящийся в каждом человеке, питаясь логосностью, разлитой во вселенной и в идеальном мире, растет в меру Логоса, единородного Сына Божия.

У Паламы имеется прекрасное сравнение, иллюстрирующее положение человека в мире:

«Так как человек и вселенная созданы одним устройством. Одного Художника, то они имеют много сродных черт: они взаимно превосходят друг друга, — один величием, а другой разумением. И человек является в мире сокровищницей, как некое многоценное богатство в большом доме, гораздо более богатое, чем заключающий его дом. И как некое разнообразное и многоценное царское украшение в царском дворце, ибо дворец и дом устроены из огромных, но дешевых и простых камней, а это украшение убрано малыми, но зато редкими и многоцветными камнями. Насколько превосходнее неба человеческий ум!»⁵.

О высоком призвании человека и неограниченных его возможностях Палама говорит, развивая мысль Плотина, что во всяком человеке можно увидеть некий божественный облик. Мысль не новая, ее можно найти в индуизме, однако у Паламы она обретает христианскую перспективу: он не отождествляет внутреннего человека с Богом, как делают все пантеистические учения, а лишь подчеркивает, что через глубину души человеческой, как через окно в запредельный мир, можно узреть Божественное. Здесь напрашивается и иное сравнение: как на водной глади можно увидеть отраженное солнце, так в ясной душе человеческой можно увидеть отражение Солнца. Человек с его духовной сущностью и разумной энергией, можно сказать, является имманентным отражением трансцендентного лика Божества. С сохранением должных пропорций св. Григорий проводит дальше аналогию между человеком и Богом: человеческий ум есть подобие божественного Ума, человеческое слово, высказываемое живым дыханием, является подобием Слова, изрекаемого Богом в Духе Св. Между душой человека и его телом подобная (символически) связь, как между Богом и вселенной. Аналогично Св. Троице человеческое понятие триадично: оно состоит из ощущений, эмоций и понятий. У человека невидимое слово ума — мысль — объективируется в звуке и знаке, что есть символ Боговоплощения.

ОБРАЗ И ПОДОБИЕ БОЖИЕ

Только христианская религия развивает учение о человеке как образе и подобию Божию. Она избегает, однако, с одной стороны, — пантеистического отождествления Бога, мира и человека, и, с другой, полного разрыва между Творцом и тварью, как это делается в деизме. Св. отцы по-разному учили об этом образе и подобию, усматривая их то в *разумности*, то в *духовности*, то в *бессмертности*, то в *свободе*, то в *господственном* положении человека в мире, то в *святости*, то в его *«микрокосмосности»*.

Св. Григорий принимает все эти определения, делая ударение то на одном, то на другом, в зависимости от контекста. Обобщая, можно сказать, что образ он понимает как соотнесенность Бога и человека; *подобие* же — как осуществление того, что дано человеку в потенции. Преимущество человеческой природы, по сравнению не только с иной тварью, но и с ангелами, состоит в: 1) обладании умом, словом и животворящим духом; 2) назначении человека ипостасировать безмолвный и несознательный космос; 3) предвечном предобразовании к Боговоплощению.

Творческие способности человека богоподобны. И если Бог творит из ничего, то человек творит то, чего не было. Эту мысль прекрасно выразил впоследствии о. Сергей Булгаков, сказав, что *хотя человеку и не свойственно творчество из ничего, однако он обладает способностью творить в ничто из божественного что*. Современная креационистическая философия выражает это формулой: человек есть творец новых реальностей.

Плоть, данная Богом человеку, с одной стороны, связывает его и ограничивает, но, с другой, — дает ему такие творческие возможности, каких лишены бесплотные духи. Плоть может стать обиталищем (храмом) Духа Святого, и в лице Иисуса Христа она соединилась с

Божеством в неслиянном, нераздельном, неизменном и неразлучном единении (формула Халкидонского Собора).

Творчество — это дар, призвание и заданность, которые человек развивает и осуществляет прежде всего в образовании своей внутренней жизни, в развитии своей личности, в определении своего личного жизненного пути. Осознание объективной иерархии ценностей и добровольное решение продвигаться вверх по этой иерархической лестнице есть творческий акт человека. Он выражается в данном случае в предпочтении нравственных и духовных благ благам материальным и физическим, в предпочтении универсального — индивидуальному, в предпочтении «давать» вместо «брать». «Давать» есть акт творческой любви, ибо дающая рука не оскудевает, а лишь приумножает ценности в мире.

Развитие наших интеллектуальных способностей как необходимых условий созидания есть тоже вид творчества, равно как и жажда святости, ибо святость есть приближенность к Богу, есть совершенствование, идеалом которого является наш Небесный Отец.

Творчество — это созидание красоты в физическом мире, стремление к благолепию нашего окружения. Здесь уместно припомнить, что обретение материальных благ не должно совершаться хищническим путем, как это делалось до последнего времени. Хозяйственное творчество должно сохранять гармонию между человеком и его средой, ибо человеку как «венцу творения» отдан в подначальственное состояние физический мир, в котором изначально всё было «добро зело» (космос-красота). Если же человек, будучи микрокосмосом, уничтожает космос, то он в некоторой степени совершает самоубийство.

Творчество есть постоянное «самопревосхождение» (трансцендирование самого себя). Об этом хорошо написал архим. Киприан, глубокий исследователь учения св. Григория Паламы:

«Творчество есть совместное с Богом действие человеческого духа, богодействие, теургия или иными словами продолжение дела Божия. Не только в начале мироздания творил Бог Отец и почил от дел Своих; но и Сын Божий доселе делает с Отцом; и Дух Св., вдохновляя творящих людей, вместе с ними творит новые ценности»⁶.

ОБОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Каждая значительная философия жизни ставит два основных вопроса: откуда всё происходит и куда всё стремится? Тем паче — религиозная философия. Последняя, можно сказать, интересуется больше заданностью человека, чем данностью, ибо только в свете будущей жизни приобретает особый смысл жизнь настоящая. Ведь человеческая реальность представляет собой лишь фрагмент богочеловеческой реальности и потому должна рассматриваться на фоне последней.

Человек был создан Богом для того, чтобы стать сыном Божьим. Это было постановлено в предвечном совете Трехипостасного Божества. Но так как человеку, кроме духа и разума, был дан и божественный атрибут свободы, то путь к этой высочайшей цели усыновления не мог быть определен в гетерономном порядке. Св. Писание говорит, что *нам дана власть стать сынами Божьими*; человек не может быть *сделан* сыном Божьим, ибо в таком случае была бы отменена свобода.

Человеческое тело есть орудие действия человеческого духа; без него, вероятно, дух не имел бы возможности развивать себя и совершенствоваться. Духовно-телесный организм человека был предустановлен к тому, чтобы стать местом соприкосновения двух миров: посюстороннего и запредельного, конкретного и идеального, тварного и божественного. Об этом говорит св. Григорий:

«Бог воспринимает человеческое естество, чтобы показать, что оно настолько свободно от греха и настолько чисто, что может быть соединено с Ним по Ипостаси и нераздельно пребывать с ним в вечности»⁷.

Всю историческую драму человечества, центральной точкой которой является факт Боговоплощения, чеканно выразил св. Афанасий: «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился». Эта тема повторяется в разных вариантах, почти у всех отцов Церкви и занимает соответствующее место и в богословии Паламы.

Каковы же ступени совершенствования, ведущие к обожению? Они следующие:

1) обожение есть процесс внутренней жизни человека;

2) обожение не означает пантеистического «слияния», естественного «растворения» человека в Боге;

3) обожение имеет реальное, а не метафорическое значение;

4) обожение есть результат нравственного очищения и максимального развития логосности (разумности) в человеке;

5) обожение есть причастие всей психосоматической (душевно-телесной) сущности человека Божеству;

6) обожение есть *просветление, прославление, преобразование* этой психосоматической сущности.

С иной точки зрения можно сказать, что имеются два условия обожения: заложенные в самой природе человека способности к обожению (теономия) и актуальное осуществление их самопроизвольным усилием (синтез благодати и заслуги).

Обожение возможно потому, что, согласно удачному выражению о. С. Булгакова, мир человеческий находит для себя в Божестве *достаточное основание*: природно человеческое бытие обосновано в первообразах мира божественного, а ипостасно оно укоренено в божественной жизни.

Согласно учению св. Григория, «Бог больше смотрит на расположение и произволение наших душ, нежели на телесные труды»⁸. Правильному же расположению не благоприятствуют: равнодушие, беспечность, эгоизм, пресыщение плоти и безнравственность.

Как же следует понимать, что наше тело будет приобщено божественной жизни? На этот вопрос дают ответ (до Паламы) св. Макарий и св. Симеон Новый Богослов. Приведем две цитаты, свидетельствующие об исключительном дерзновении святоотеческой мысли в учении о человеке.

Св. Макарий учит:

«...и каким образом игла, брошенная в огонь, переменяет цвет и превращается в огонь, между тем как естество железа не уничтожается, но остается тем же; так и в воскресение все члены будут воскрешены и, по написанному, «влас не погибнет» (Лк. XXI, 18) и всё сделается световидным, всё погрузится и предложится в свет и в огонь, но не разрешится и не сделается огнем, так чтобы не стало уже прежнего естества, как утверждают некоторые. Ибо Петр останется Петром, и Павел — Павлом, и Филипп — Филиппом. Каждый, исполнившись Духа, пребывает в собственном своем естестве и существе»⁹.

Симеон Новый Богослов, на основании своего личного мистического опыта, так пишет о предвкушении обожения уже на этой земле:

«Я делаюсь причастником света и славы: лицо мое, как и Возлюбленного моего, сияет, и все члены мои делаются светоносными»¹⁰.

«Когда же я приобщился Его, то сделался бесстрастным, воспламенился наслаждением, возгорелся желанием Его и, приобщившись света, подлинно сделался светом»¹¹.

«Очистившись покаянием и потоками слез, и приобщаясь обоженного тела, как Самого Бога, я и сам делаюсь Богом через неизреченное соединение»¹².

О состоянии святых после смерти он же пишет:

«После смерти они будут богами, сопребывающими с Богом, с Тем, Кто по естеству Бог, — те, которые уподобились Ему по усыновлению»¹³.

«Бог обитает в святых и вселяется в них *разумно и существенно*, будучи Сам совершенно пресуществен», «ибо через соединение с Собою Он совершенно обоживает их»¹⁴.

Св. Григорий Палама не создает нового учения об обожении (теозис), а лишь синтезирует то, что уже было сказано до него. Он пишет на эту тему:

«Естество человеческое, в отличие от всех тварей, создано по образу Божию; оно настолько сродно Богу, что может с Ним соединиться в одной Ипостаси»¹⁵.

«Он украсил наше естество, как Свою будущую оболочку, в которую он восхотел облечься»¹⁶.

«Человеческое естество настолько чисто, что может быть соединено с Богом по Ипостаси и нераздельно пребывать с Ним в вечности»¹⁷.

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К ОБОЖЕНИЮ

Основное препятствие на пути к обожению — это грех. Грех можно определить как преступление закона, прежде всего, — нравственного закона, за которое полагается как естественное следствие наказание, будь оно внешним воздействием или же упреком совести.

Однако не такой юридический подход ко греху характерен для православия. Оно рассматривает грех как симптом духовного и нравственного заболевания и сосредоточивает максимум своего внимания на диагностике и терапии греха, а не на его юридических консеквенциях. Страсти, согласно св. Григорию, ведущие ко греху, являются показателями страстного ума, и с последнего надо начинать врачевание.

В этой области подвижническая душеврачебная практика на многие века опередила фрейдовское уче-

ние о психоанализе, которое в своей неспорной части представляет собой лишь один из фрагментов учения о душе человека вообще.

Сокрушение о грехе и раскаяние, запечатленное в исповеди, обновляет душу и приводит ее в состояние изначальной гармонии с божественной красотой и спокойствием.

ПЕРВОИСТОЧНИК ГРЕХА

Бог есть неведущий Свет, и Его сияние озаряет сперва бесплотные духи (вторые светлы) и затем все мироздание во главе с человеком. Божественный свет не есть тот солнечный свет, который мы видим глазами, но последний наиболее символический, наиболее близок к божественному свету. Чем совершеннее наша жизнь, тем сильнее сияет в нас свет божественный. Своим усилием мы в некоторой степени можем стяжать и усиливать это сияние в нашей душе.

Мрак, наоборот, представляет собой противоположность божественному свету. Грех есть помрачение души, ослабление фаворского света в нас. В предельном сгущении этого мрака наша душа умирает и для будущей жизни. Сатана, носитель и символ метафизического мрака и зла, стремится усилить греховный мрак и в наших душах, поселяя в них недолжные помыслы и возбуждая желание исполнить их.

«Ум, — говорит Палама, — отступив от Бога, становится или скотоподобным или демоноподобным и, удалившись от законов естества, вожделеет чуждых ему вещей»¹⁸.

УЧЕНИЯ О СТРАСТЯХ

Святые целители душ меньше обращали внимание на акты или факты греховные, чем на те душевные диспозиции, внешним выражением которых являются конкретные греховные помыслы и деяния.

Эти диспозиции на патристическом языке называются *страстями* и их имеется, согласно классическому делению, восемь: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Между этими страстями существует некая онтологическая связь и генетическое преемство. В общем, св. Григорий Палама принимает это классическое деление, но иногда дает и собственную классификацию. Так, в трактате «О страстях и добродетелях» на первое место он ставит *любопытность* и рассматривает разные виды ее: скупость, торгашество, хищничество, воровство, лихомание. На второе место он ставит славолубие, весьма тонкую страсть, дающую о себе знать уже в совсем юном возрасте. Славолубие проявляется в тщеславии, самомнении, лицемерии, гордости и зависти. На третьем месте у него находится чревоугодие (гортанобесие), а на четвертом — *похоть*.

Кроме того, Палама отличает страсти, «зависящие от произволений», от страстей, «имеющих начало в естестве». Последние, будучи укоренены в природных инстинктах и нуждах организма, сами по себе могут и не быть греховными, но становятся таковыми в меру их извращения. Человеку свойственно есть, пить, размножаться, однако неумеренность, излишество, извращение этих физиологических явлений приводит ко греху.

МИР КАК СРЕДОТОЧИЕ СТРАСТЕЙ

У св. Григория Паламы, как и у всех подвижников, слово «мир» имеет два значения. В космическом смысле — как творение Бога мир «добр зело», так как он до-законен и не-морален, ибо не-сознателен. Но есть иной план мирского бытия: это тот мир, который «во зле лежит» и который искушает «богатством, роскошью, суетной славой».

Такой мир — всё «текущее и преходящее, всякая страсть душевная и телесная, зловредная и срамная, всё нечистое, всё, что беспокоит ум, всякий слух, зрелище, всякое слово, могущее принести вред душе»¹⁹.

Тяготение к *такому* миру отвращает душу человека от «горнего мира» и от мира естественного и погружает ее в стихию зла.

Подвиг. Греховный мир не абсолютен и его власть над душой ограничена. Всегда, доколе человек жив будет, он может обратиться к Богу. Для этого нужно усилие воли, которое называется подвигом. Палама различает три аспекта подвига: «*память смертную*», то есть сознание, что мы можем заслужить жизнь вечную только в этой жизни и потому должны постоянно иметь в виду ее трагический срок-предел, то есть смерть; «*плач о грехах*» — сменяющийся радостью быть прощенным, которую Палама называет «сладкой печалью сердца»; «*смирение*» как сознание собственной греховности и недостойнства перед лицом Сверхсовершеннейшего.

Наиболее мощным оружием против греха и средством устремления к Богу является *молитва*. Она рассматривается св. Григорием в трех планах.

Во-первых, молитва есть средство освобождения от страстей, средство обрести прощение. Уже сам факт, что в молитве мы отрываем свое сознание от греховных либо обиденных вещей и сосредоточиваем его на божественном, приносит нам огромную пользу.

Во-вторых, в молитве мы обретаем покой сердца, очищение ума и совершенное безмолвие, так называемую *исихию*, непреложное условие божественного созерцания.

В-третьих, в результате очищения (катарсиса) и бесстрастия (апатии) ум человеческий обретает способность утонченного зрения, в котором, как мы выразились бы на современном языке, сочетаются интеллек-

туальная и мистическая интуиции. Об этом состоянии Палама говорит:

(Человек) «пользуясь тем светом, восходит по пути, который возводит на вечные вершины и, о чудо! он становится зрителем премирных вещей в том свете, не разлучаясь от этой жизни. Или вернее, отделяясь от материального, в котором он от начала проходит известный ему путь, он однако восходит не на мечтательных крыльях ума, который кругом всего блуждает, как слепой, и не схватывает далекими чувствами и не превыспренними умопостижениями точного и несомненного восприятия; но путь этот возводит к истине неизреченною силою Духа; духовным и несказанным восприятием он слышит неизреченные глаголы и видит незримое, и он уже здесь на земле становится весь чудо»²⁰.

Таково вкратце учение св. Григория Паламы о человеке; в нем нет ничего такого, что было бы в несогласии со святоотеческим учением. Заслуга Паламы в том, что он собрал воедино элементы церковного учения и украсил его из своего личного мистического опыта. Его любовь к Богу, миру и человеку предстает перед нами в сиянии того Фаворского света, который просвещает всякого человека, грядущего в мир, но который возгорается сильным пламенем в тех, кто его взыскует всем сердцем.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Статья составлена на основании книги проф. архим. Киприана (Жерна), YMCA - PRESS, Париж, 1950.

¹ Homil. 17, col. 225 BC; Cf: «De divin. nomin.» IV, 13, col. 12 AB.

² Cap. 81, col. 1177 D.

³ *ibid.*, col. 1180 A; Cf: cap. 85, col. 1181 C. Theoph., col. 949 C.

⁴ Hom. 19, col. 260 A.

⁵ Hom. 26, — MPGr. t. 151, col. 36 B.

- ⁶ Архим. К и п р и а н. «Антропология св. Григория Паламы», стр. 372.
- ⁷ Ном. 16, col. 197 А.
- ⁸ Слово XLII, т. I, стр. 316.
- ⁹ op. cit. VIII, 293, *ibid.* 281.
- ¹⁰ Гимн VII, стр. 48.
- ¹¹ Гимн X, стр. 63.
- ¹² Гимн I, стр. 21.
- ¹³ Гимн XX, стр. 93.
- ¹⁴ Гимн XXII, стр. 104.
- ¹⁵ Ном. 16, — MPGGr. t. 151, col. 204 А.
- ¹⁶ Ном. 26, — col. 333 В.
- ¹⁷ Ном. 16, col. 197 А. cf: col. 192 С.
- ¹⁸ Слово 51, афинское издание, стр. 100.
- ¹⁹ «Xen.», col. 1056 А.
- ²⁰ «Xen.», — col. 1081 АВ.

Библиография

«ДЕНЬ НАДЕЖДЫ И ВОСКРЕСЕНИЯ»

«Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории, то есть, что Россия принадлежит к неорганизованному, неисторическому кругу культурных явлений, упустил одно обстоятельство, — а именно: язык. Столь высоко организованный, столь органический язык не только дверь в историю, но и сама история. Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности, было бы отпадение от языка. «Онемение» двух, трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти» (О. Мандельштам. «О природе слова»^{*}).

От «онемения» двух (по меньшей мере) поколений в тридцатые — сороковые годы, а Россию — от отлучения от свободы и целесообразности спасли только изгнанники — Бунин, Зайцев, Мережковский, Марина Цветаева, Вл. Сирин-Набоков, одареннейшие из поэтов — «парижан», да побиваемые камнями: Мандельштам (хотя тогда еще никому не были ведомы его «воронежские» стихи), Ахматова, писавший «в стол» «Мастера и Маргариту» Булгаков.

Но не была ли тогда Россия на грани «отлучения»?

Сейчас мы можем сказать: славу Богу, «онемение» кончилось. Вновь заговорила русская литература. Не та псевдолитература талантливых и бесталанных оборотней, которая идет под тавром соцреализма, а литература в подлинном значении этого слова.

Романом «7 дней творения» В. Максимов завоевал себе право на одно из первых имен в этой возрождающейся русской литературе.

О композиции: роман состоит из шести частей, названных

В. Максимов. 7 дней творения. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне. 1971 г.

^{*} Собрание сочинений в 3 томах. Т. II, стр. 247-248. Международное Литературное Содружество. Мюнхен. 1971.

по дням недели («понедельник», «вторник» и т. д.). Последняя же седьмая часть сведена к одной лишь фразе: «И наступил седьмой день — день надежды и воскресения...» Но в этой последней фразе и есть вся «соль» романа!

В. С. Франк в своей прекрасной статье в «Посеве» (№ 1/1972 г., стр. 53) сравнил «7 дней творения» с «Сагой о Форсайтах» Голсуорси; как и знаменитый английский писатель, Максимов рисует историю одной семьи, и в ее лице дает портрет целого сословия. Разница Максимова с Голсуорси в том, что Голсуорси описывает семью, принадлежащую к зажиточному дворянству, а Максимов — семью рабочих.

Но было бы, думается, односторонним сводить «7 дней творения» к рамкам социального романа. Это прежде всего повествование о просветлении и преображении, причастен к которым может быть (хотя и не обязательно должен быть) каждый, и не будь этого повествования, не имело бы смысла оканчивать роман его «однофразной» седьмой частью.

В. Максимов с большим изобразительным даром рассказал об истории рабочей семьи одного провинциального среднерусского городка (Узловск); но попутно выведены и другие персонажи: военспец (бывший офицер старой русской армии), проститутка (современная Соня Мармеладова), сумасшедшая девушка-пианистка, ее неприспособленный к жизни брат, чистой любовью влюбленный в «Соню Мармеладову», чекист, запятанный в психолечебницу священник... Советский быт в прошлом и настоящем? Да, советский быт в прошлом и настоящем. Но В. Максимов не только бытописатель. Если не в стиле, то в сценах и в самом замысле его романа много от Достоевского.

Врач специальной психолечебницы Петр Петрович говорит своему старому товарищу, пациенту больницы, режиссеру (в прошлом) Марку Крепсу:

«— Есть предписание, — не отводя взгляда от Крепса, доктор складывал слова с видимым усилием, — отправить тебя в Казань*.

* В Казани — специальная психобольница с бесчеловечно-жестоким режимом. — А. Н.

— Меня одного?

— И попа тоже.

— Не попа, Петя, а священника.

— А, — устало махнул рукой тот. — Какая разница!

— Большая, Петр Петрович, — бешено взвился Крепс, — очень большая, Петя! Неужели ты до сих пор так ничего и не понял? Мне казалось, что после того... после тех венгерских мальчишек, которых мы с тобою расстреливали, в тебе что-то проснулось... Или тебе мало всего, что творится вокруг тебя? Разуй же, наконец, глаза, Петя! Ни я, ни тем более Егор Николаевич не писали подпольных протестов, не демонстрировали на Красной площади, не пытались решать больных вопросов в легальных журнальчиках на потребу интеллигентному нашему обывателю, а в Казань всё-таки гонят нас. Нас, а не титулованных либеральных борцов, состоящих на жаловании у государства! А ведь мы лишь несем Свет и Слово Божье. Мы для них страшнее. Во много раз страшнее фрондирующих физиков и полуподпольных лириков. Потому что человека, воспринявшего этот Свет и Слово, уже невозможно купить или сломать» (стр. 319).

Врач психолечебницы, когда-то расстреливавший венгерских мальчишек и заливавший совесть спиртом, покончил с собой. Такие, как Крепс и священник о. Георгий («Егор Иванович»), остались несломленными и в Казани. Для правильного понимания *политического* замысла романа «7 дней творения» очень важно знать: путь личного внутреннего просветления и преображения по Максиму — *единственный* путь преображения всей России; другого пути нет. Максимов, в частности, отвергает путь социальных и политических потрясений. Прав он или неправ — вопрос другой. Но сама мысль выражена в романе с непреложной ясностью.

Из случайно подслушанного одной из героинь романа (Антониной Лашковой) разговора, происходившего в городе на Аральском море, в мастерской, за деревянной перегородкой:

«Два голоса, один — глухой, картавый и другой — настоенный звонким вызовом, — наперебой сменяли друг друга:

— ...Снова Боженьку вам подавай, а сами в сторону. Нашли на кого рабство свое свалить!

— Ах уж эта семинарская нетерпимость! Ничему вас, Юрочка, дорогой, история не научила. Всех ненавидите! Ортодоксов, мещан, участковых. Собратья твои, что из лагерей пришли, уголовников ненавидят. Представляю, какой режимчик вы устроите своим политическим противникам, коли придете к власти. Неужели, Юра, трудно понять, что если всегда «око за око», то кровь никогда не кончится. Попробуйте хоть раз простить — самым легче станет.

— Слыхали мы эти песни! Владимирская тюрьма битком набита, а вы всё о Промысле блажите. — Переходя почти на шёпот: — Слыхал? Крепса в Казань отвезли.

— Вот видишь, — в голосе за стеной обозначилась горечь, — не тебя, не кого-нибудь из ваших, а его, безобидного проповедника. Значит, слово Марка повесомее твоего будет.

— Да кто за ними пойдёт? Единицы. Идея их так загажена, что ее отмаливать века не хватит.

— Ты заметил парня, что заходил сюда? — Разговор после недолгого молчания возобновился снова. — Тот, что помоложе?

— Ну.

— Мальчик, как говорится, из хорошей семьи. Школу с медалью кончил. Но вместо института он выбрал самую что ни на есть глухую стройку. Что трудовой энтузиазм? Отпадает. Мальчик слишком трезв для дешевого идеализма. Блажь? Породы не та. Что же тогда, ответь, если сможешь?

— Но уж и не вера, разумеется!

— Как знать. Скорее ее предчувствие. Несовместимость чистой души с изолгавшейся средой выталкивает ее в стихию. Но такие, уверяю тебя, за вами не пойдут.

— Таких и не зовем.

— Потому что боитесь их. Уж больно на их белизне тьма ваша выделялась бы. Вы зовете социальных и духовных люмпенов. Отбросы, которые жаждут самоутвердиться на крови. Чужой крови. И вашей, кстати, тоже.

— Дважды история не повторяется. Мы учтем опыт.

— Может быть. Но так как ваш новый эксперимент влетит

России в новую кровавую копеечку, я — против. — Голос отвердел несвойственной ему резкостью. — Поэтому, если вы начнете, я сяду за пулемет и буду защищать этот самый порядок, с которым не имею ничего общего, до последнего патрона. Буду защищать вот этих самых мальчиков от очередного, еще более безобразного бунта. *Лучше, что есть, чем вы* (подчеркнуто нами. — А. Н.). Вы — тьма. И Боже упаси от нее Россию» (стр. 391-392).

Нужды нет, что в лице сторонников революции в России (а в сущности речь идет о новой революции) В. Максимов изобразил, судя по всему, только каких-то атеистически и антихристиански настроенных неоленинцев. Нужды нет, что образ сеятеля слова Божьего никак не согласовывается с его же выраженной готовностью сесть за пулемет, да еще для чего? Чтобы защищать «этот самый порядок», с которым он не имеет ничего общего! Нужды нет, наконец, что на знаменах первых, понесших в Россию в темные тридцатые годы слово о революции, значилось (на первой странице в правом верхнем углу довоенной газеты «За Россию»): «Не ради мести и сведения счетов, а за светлое будущее». Мысль, выраженная Максимовым, действительно имеет хождение в определенных кругах молодой российской интеллигенции. Но Максимов еще более заостряет ее устами своего героя Крепса, говоря о «фрондирующих физиках» (акад. Сахаров?) и «полуподпольных лириках» (Галич?). По-видимому, даже деятели демократического движения за гражданские права для Максимова неприемлемы. Он ставит вопрос «или-или». Или путь личного просветления и преображения (и ради этого не страшны никакие тюрьмы и спецпсихобольницы), или пусть уж лучше всё остается по-старому.

О «социальной ткани» романа: старшее поколение рабочей семьи Лашковых, в частности, главный герой Петр Васильевич Лашков, не только дрались за Ленина, за советскую власть, чтобы из «ничем» стать «всем» (как в «Интернационале» поется). Они *верили* в коммунизм; они сохранили эту веру и в эпоху раскулачивания, и в годы «культа личности». И лишь под конец его дней: «...Перед мысленным взором Петра Ва-

БИБЛИОГРАФИЯ

сильевича вдруг встала вся судьба целиком, во всей совокупности ее удач и ошибок, будней и праздников. И, подводя итог увиденному, он с испепеляющей душу трезвостью должен был сознаться себе, что век, прожитый им, — прожит попусту, в погоне за жалким и неосязаемым призраком. И тогда Лашков заплакал, заплакал молчаливо и облегченно...» (стр. 497).

Верной, послушной кистью рисует Максимов серые жестокие безысходные советские будни. Но в конечном итоге книга его глубоко оптимистична. «Вместо мечты о вечной жизни подкинули обещание всемирного обжорства и ничегонеделания. А он — человек-то, как наелся, так сызнова его к вечной жизни потянуло. Удержи его теперь, попробуй», — говорит Петру Васильевичу проповедник христианства Гупак, а когда-то, в годы гражданской войны не расстрелянный Лашковым (хотя такой приказ и был ему дан) железнодорожный техник Мионов (стр. 81).

Не случайна, закономерна и заключительная, уже приводившаяся нами фраза романа: «И наступил седьмой день — день надежды и воскресения...»

А. Неймирок

ФИЛОСОФИЯ ПОДПОЛЬЯ

Льва Шестова часто, почти всегда считают философом одной идеи, идеи, которую можно свести, в самой схематичной форме, к проповеди борьбы с очевидностями.

По правде сказать, такое мнение о Шестове не лишено серьезных оснований — редко можно встретить в истории мысли человека, столь последовательного и страстно защищавшего от всех и от вся свое заветное слово, то единственное слово, которое он призван сказать миру. Слово Шестова — слово борьбы и непримиримости, слово отчаянной защиты своего «я» от разлагающей его обыденности.

Лев Шестов. Достоевский и Нитше (Философия трагедии). СПб. 1903. 4-ое издание. YMCA-PRESS, Париж, 1971.

В этой борьбе Шестов ощущал поддержку немногих, всегда тех же верных идейных соратников: блаж. Августина, Лютера, Шекспира, Паскаля, Достоевского, Ницше и последнего, слишком позднего друга — Киркегора.

Книга «Достоевский и Нитше», изданная в 1903 году, посвящена двум почти современным Шестову мыслителям-пророкам, выразителям философии подполья и трагедии.

У обоих писателей схожие биографии. И тот и другой в начале своего поприща были одаренными молодыми литераторами, известность которых зиждилась на общепризнанных и общеодобренных идейных и художественных достоинствах: Достоевский превосходно воплотил в своих первых вещах то сострадание к «бедным людям», которым жила русская интеллигенция, а Ницше талантливо проповедовал идеи Шопенгауэра и защищал артистические взгляды Вагнера, которыми бредила культурная (и полукультурная) Германия.

Но обоих внезапно жизнь поставила в совершенно исключительные условия, перевернула наизнанку их представления о мире и о самих себе.

Достоевского постиг смертный приговор, из литературной темы страждущий русский человек превратился в совершенно конкретного соседа по каторге, перевоплотился в самого писателя, бьющегося в припадке падучей.

Ницше психически заболел, потерял одновременно здоровье и веру в свой талант. Ему открылось все то презрение, с которым к нему относились кумиры его молодости.

И с этих моментов приятный голос «подающих надежды» молодых писателей превратился в отчаянный крик загнанного в подполье, взывающего из глубины человека. Выброшенные жизнью по ту сторону мира, Достоевский и Ницше постигли его тайну, поняли то, что людям понимать нельзя...

Претерпевший до конца — спасется: это столь раздражающее место из Евангелия и есть то, на чем основано познание мира. Оба мыслителя прошли через горнило самого страшного страдания, которое может выпасть на долю человека, — они в себе ощутили то, за что сами не могли не презирать ни себя, ни других. Достоевский в «мертвом доме» понял, что он не

может не преклоняться перед преступниками и что они не могут его за это не презирать... Отношение Ницше к Вагнеру совершенно подобное.

Положение полностью безвыходное — возврата к обыденности нет. «Приспособление» невозможно, нет такой ситуации, в которой «страдание перестанет напоминать о себе» (стр. 198). Даже смерть невозможна: Ницше рад был бы умереть, «но к алтарю сносятся лишь богатые дары, и измученное, надломленное, изуродованное существование не по вкусу добру, которое... требует себе... не тронутые страданием жизни» (стр. 184). Измученные герои Достоевского не кончают самоубийством.

Миру нечем ответить на страдание, нечего ему противопоставить. Его обычная реакция — сострадание, но это «единственное целебное средство, которым располагает мораль, ужаснее, нежели полное равнодушие» (стр. 224).

Трагедия — полная безвыходность — рождается из непонимания миром страдания и обуславливает новую мысль о мире.

Страдание заставляет человека отказаться от своей «мудрости». И тогда он впервые видит себя «подстриженными глазами». И то, что он видит, его ужасает, совершенно не соответствует тому, чему его учили мудрые мира сего. Он видит в себе ложь, зло и бездну пустоты. Он сознает, как герой «Записок из подполья», что ему важнее «чай пить», чем помешать гибели мира.

Разумеется, после подобного открытия его отношения с миром будут носить совершенно иной характер, чем раньше! «Весь мир и один человек столкнулись между собой и оказалось, что это две силы равной величины» (стр. 177): бездна личности и бездна мира равны — и та и другая бесконечны.

Мир не может претендовать на преимущество над отдельной личностью, его ученые и теории не могут ничего более сказать человеку трагедии, чем то, что сказал «флегматический белорус» тонущему товарищу: «не трать, Фома, здоровья, ступай ко дну». (стр. 178).

Для человека, которому пришлось «признать ложь основным условием жизни», невозможно согласиться с тем, что «в старом мире всё благополучно». Он не признает законы природы — залог «бессмыслицы в судьбе отдельного человека». Наука для него «доброжелательное самоограничение пугливого человеческого ума» (стр. 196), то счастье, которое она сулит человечеству, — чистая абстракция: «идеалы о курице к воскресному обеду и всеобщем счастье выдумывались всегда учителями, учёными людьми» (стр. 240), «счастье людей», незаметное для «неопытного глаза», заменяется «счастьем большинства», то есть согласием на то, что будет несчастное меньшинство (стр. 183).

Но самой ожесточенной критике человек из подполья подвергает законы морали: как пишет Ницше, «в присутствии нравственности, как и в присутствии каждой власти, думать или разговаривать не разрешается: здесь нужно — *повиноваться*» (стр. 182). Все моралисты, и в частности Толстой и Кант, «чтобы не выставлять ложь их убеждений, просто заложили их корни в иной мир» (стр. 196). Шестов задает вопрос: не играют ли все учителя и проповедники добра, истины, любви, милосердия лишь «торжественную роль?» (стр. 179), «мог бы гр. Толстой быть тем, кем он есть, если бы он держался своих теоретических взглядов на жизнь?» (стр. 169). Причина фальши и неубедительности всех моральных построений в том, что до сих пор моралистические идеи жили «предпосылками», подобными «категорическому императиву» Канта, вытекавшими из поверхностных наблюдений внешних человеческих отношений (стр. 202).

Но кроме ощущения «ничто» в себе и в мире, что может принести нового «подпольный человек»? Хотя ему и нечего сказать «в роли учителя людей», он рвёт и мечет, не преклоняется перед «стеной» законов разума и природы, перед которой люди «спасовали». Он прозрел, и в пророческом вдохновении обличает людей в том, что они убили мечты своей юности, что они насилием своих ложных законов закрыли путь человеку к познанию жизни: уже в детском возрасте насилие над умом ребенка уродует его познавательные способности, его уже тог-

да заставляют *верить* в истинность законов, идущих в разрез с его детской действительностью. Ребенок органически воспринимает то, что в дупле старого дуба живет остроухий гномик, а не то, что земля вертится вокруг солнца — вопреки очевидности (стр. 201-202).

Для философа трагедии жизнь — «эксперимент познающего», и он может и должен доводить этот эксперимент до конца, даже если это его приводит к скандальным мыслям, подобным следующей: «По-видимому, Раскольников был прав, и точно существует две морали, одна для обыкновенных, другая для необыкновенных людей» (стр. 212). «Бессодержательной действительности» Достоевский и Ницше предпочитают «манящую, обещающую, но пугающую, точно привидение», жизнь. Они всеми средствами своего таланта стараются себе и другим разъяснить «непонятный язык» жизни. «Они пытались найти свое там, где никто никогда не ищет, где по общему убеждению нет и не может быть ничего, кроме вечной тьмы и хаоса» (стр. 245). И познание жизни цельной, хаотической, не искаженной «идеями» и «синтетическими суждениями а priori», им открыло «последнее слово философии трагедии» — их научило «уважать» великое безобразие, великое несчастье, великую неудачу» (стр. 244).

«Достоевский и Нитше» — один из первых философских трудов Шестова. В нем мысль автора лишь начинает раскрываться, она еще не полностью оторвалась от мысли его идейных соратников и учителей, но в нем уже ясно ощущается сердцевина идейных исканий мыслителя — стремление к жизненной встрече с истиной.

Позже Шестов свою мысль будет высказывать более разработанно, более «по-философски», но почти никогда он не сможет достичь той несколько «неотесанной» силы и смелости изложения, которая буквально приковывает читателя к его труду и заставляет (хотя бы на время чтения) отречься от привычных и уютных «очевидностей».

Д. Руднев

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД О СОЛЖЕНИЦЫНЕ

Во французском издательстве «Cahiers de l'Herne» вышла в 1971 году книга, посвященная Александру Солженицыну, под редакцией профессоров Ж. Нива и М. Окутюрье. Книга очень интересна, во-первых, потому, что она является первым настоящим крупным трудом, посвященным Солженицыну, и, во-вторых, потому, что этот труд — коллективный, в котором участвовали многие знатоки русской литературы и главным образом профессора французских университетов.

Книга составлена из трех частей, ничего общего не имеющих между собой, кроме стремления познать личность автора и его творчество. В первой части переведены не изданные еще на французском языке тексты Солженицына: пьеса «Свеча на ветру», рассказы и очерки, письма. Затем следует вторая часть под заглавием «Документы»; авторы собрали главным образом документы, касающиеся «дела Солженицына» в СССР, а также биографические документы. Надо, кстати, отметить очень хорошую и богатую библиографию, составленную Ф. д'Аржаном, который перечисляет огромное количество статей, появившихся почти во всех странах и почти на всех языках. Здесь представлен очень богатый материал, важный для тех, кто хочет более подробно изучать творчество Солженицына. Третья часть — самая значительная и по размеру, и по своему значению: она состоит из целого ряда этюдов, посвященных автору, занимаемому им месту в русской и мировой литературе, его произведениям.

Статьи очень разнообразны как по темам, так и по взглядам авторов. Интересны они своим богатством и разнообразием подхода к Солженицыну, пониманием его, концепциями каждого участвующего автора. В результате все статьи сводятся к тому, что Солженицын — великий писатель, стоящий наравне с другими мировыми писателями. Недаром Нива и Окутюрье

«Soljenitsyne». Cahier dirigé par Georges Nivat et Michel Aucouturier. Cahier No 16. Serie Slave. Edition de l'Herne. Paris 1971.

пишут в предисловии, что этот коллективный труд есть выражение общего почитания Солженицына.

Первая статья написана М. дель Кастильо. Она очень удачно начинает эту серию этюдов, так как в ней автор не берет для изучения лишь одну какую-то сторону творчества Солженицына, а, наоборот, ставит общий вопрос: что такое великий писатель? что такое великое произведение? Ответ его таков: велико то произведение, которое ставит существенные вопросы нашей западной цивилизации; велик тот писатель, который в своем творчестве поднимает эти проблемы, рассматривает их в исторической перспективе, предлагает ответ на них, их разрешение. «Искусство для искусства» — ложь, за спиной писателя вечно стоит «тот», читатель. В великом искусстве есть три измерения: история, человек и «другой мир», который сопоставляется с реальностью и основа которого — трагедия.

Напомнив об этих аксиомах, автор показывает, какими элементами и какими путями произведения Солженицына достигают цели великого искусства: история — та почва, на которой Солженицын строит свои произведения; история у него — не ряд происшествий, а скорее конфликт истории с человеком. Второй элемент — человек в конфликте, трагедия, происходящая от этого конфликта, отпечаток, оставляемый им на человеке. И наконец «другой мир»: споры лежат не в плоскости политики и страшных жизненных обстоятельств, не в плоскости реальности, а гораздо выше, в области человеческого сознания.

В статье М. Окутюрье о мастерстве Солженицына есть несколько очень интересных мыслей. Особенно подчеркивается в ней диалектика реализма и символика. Реализм Солженицына не принадлежит к «анекдотическому реализму», а скорее к «эпическому», то есть к тому великому искусству, в котором проявляет себя символика. И сила символов в творчестве Солженицына заключается именно в том, что не сам автор их создает, а они сами собой возникают в его произведениях.

Самый, может быть, интересный этюд этого сборника как раз посвящен изучению символика творчества Солженицына. Он написан хорошим знатоком русской литературы XX века —

Жоржем Нива. Это и есть изучение «другого мира», о котором говорит М. дель Кастильо.

В произведениях Солженицына над миром ужасной реальности стоит мир символики. В течение всего повествования протягивается как бы невидимая сеть разных символов: символы музыкальные (музыка «Спящей Красавицы», Четвертая симфония Чайковского — в «Раковом корпусе»; этюд Франца Листа в «Круге первом»); символы в природе (символ урюка в цветку в «Раковом корпусе», эпизод Яконова с Агнией на берегу Москва-реки и в церкви Святого Никиты в «Круге первом»; лес, в котором любит уединяться Агния; лес, который пишет художник Кондрашев-Иванов и по которому бродит рыцарь и ищет Святой Грааль); символы в самих персонажах: Агния, кажущаяся неземным существом, пришедшим из другого мира и попавшим в земной адский мир; рыцарь на картине Кондрашева-Иванова, который по всему свету ищет Святой Грааль; наконец новые рыцари короля Артура, собранные в Ноевом ковчеге шарашки, пирующие за новым Круглым Столом (гл. 53). Им противопоставлен пир у Макарыгина, пир так называемых свободных людей (гл. 56).

Как ни странно, но именно в этом мире шарашки человек способен достичь полной свободы. Это одна из главных мыслей статьи Ф. де Лябриоль (стр. 417), ибо настоящая свобода существует только в полном убожестве. У того, кто уже ничего не имеет, ничего нельзя отнять. Уничтожив все связи с миром, человек становится свободным. Но у него нет ни счастья, ни надежды, в нем царит чувство абсурда: сталинский мир только кажется порядком, в сущности он есть крайний беспорядок, так как всё решает один лишь человек, только он влияет на судьбы, на чувства, на совесть людей. Шарашка — мир крайнего абсурда, в котором никто не знает, почему и на какой срок он попал в лагерь. Невольно вспоминается абсурдный мир Кафки.

Две последних статьи сборника посвящены вопросу счастья (Э. Замойска, стр. 426 и Ж. де Прояр, стр. 436). Последняя статья касается, в частности, женских образов в произведениях Солженицына.

В первую очередь надо отметить, что, будучи в ужасном

и в большинстве случаев даже безнадежном положении, персонажи Солженицына часто думают о счастье и спорят о нем. Э. Замойска находит два разных значения этого понятия: одно — простое маленькое счастье, которое человек находит в настоящем моменте, в минутном наслаждении, другое — высшее счастье, моральное, философское, почти мистическое. Это, например, поиски рыцаря в картине Кондрашева-Иванова и восторг его перед видением Святого Грааля; восторг перед явлением подлинной жизни, вопреки той действительности, в которую они погружены.

Образ женщины, который сливается с вопросом о счастье, всегда присутствует в жизни и в мыслях героев Солженицына. Есть несколько женских образов в его произведениях: первый — светлый образ женщины, способствующей счастью героя, женщины, которая способна ждать долгие годы освобождения мужа и способна создавать новое счастье. Это, например, образ Веги в «Раковом корпусе». Второй образ — это, например, образ дочери Русанова, женщины, живущей в мире «свободы» и неспособной создавать настоящее счастье. Высоко над этими женскими образами стоит образ Агнии, неземного существа, как символ иного мира.

С. Подгорная

ПОВЕСТЬ О ДРЕВНЕМ ПСКОВЕ

Девятого сентября 1971 г. скончался от разрыва сердца талантливый русский писатель Леонид Федорович Зуров. Родился он близ древнего Пскова, о котором с такой любовью говорит в своей поэме (в прозе) — «Отчина». Юным добровольцем поступает он в Северо-Западную армию. Затем — революция и скитания по Эстонии и Латвии. В Риге — начало серьезной литературной работы, а также в области русской истории, которую Зуров чутко понимал. В этот период Зуров усердно изучает Печерский край. Острое чутье ко всему русскому он сохра-

Леонидъ Зуровъ. Отчина. Повесть о древнемъ Псковѣ. Второе издание. YMCA-PRESS. Paris, 1970.

нил до конца своих дней. В 1928 г. в Риге вышла первая его книга — «Кадет», в том же году — вторая книга «Отчина», произведение уже зрелого мастера. Творчество начинающего молодого писателя сочувственно отметил Бунин и даже пригласил его погостить у себя.

Хотя Вера Николаевна Бунина окружила Зурова материнскими заботами, а верные друзья старались облегчить писателю горький жребий изгнания, всё же Зуров, думается мне, никогда не смог ужиться на чужбине, вдалеке от России. И это сказывается в его творчестве: угас первоначальный огонь, которым дышит его чудесная «поэма» «Отчина». Он принадлежал к категории писателей исконно русского склада, чей талант, оторванный от родной почвы, блекнет, и, может быть, порой и сама жизнь начинает казаться таким людям лишенной всякого смысла. Он был очень нервным человеком и болезненно переживал отсутствие сочувствия и непонимание той части зарубежной литературной среды, для которой историческое прошлое России играло второстепенную роль, которая мало знала собственный народ и историю его культуры. Ю. Терапиано совершенно прав, когда говорит в своей статье «Памяти Л. Ф. Зурова» («Русская мысль» от 7 октября 1971 г.): «Настоящее и старина связаны между собой органически, неразрывно, не только узами крови и народности, но также связью общего греха и общей любви к родине и к своему народу». У Зурова было очень заострено чувство ответственности за Россию. Он был глубоко религиозен и вне православия не представлял себе русскую жизнь.

В том же номере «Русской мысли» пишет о Зурове Н. Андреев. Он познакомился и подружился с ним в Эстонии в 1937 году, куда оба приехали: Зуров для «археологических и этнографических разведок», Андреев, присланный в этот край Археологическим институтом из Праги, — для изучения истории Псковско-Печерского монастыря. Поэтому свидетельство Н. Андреева о Зурове так важно. Л. Зуров нашел там икону XVI-XVII века с изображением монастыря, он способствовал реставрации крыльца и звонницы Никольского храма на Вратех. В своем кратком предисловии автор повести пишет: «'Отчина' — резуль-

тат весенней работы в Псково-Печерском монастыре. Пользуясь гостеприимством обители, я смог просмотреть рукописную библиотеку... и сделать зарисовки букв, концовок, водяных знаков и кожаных тиснений...» (стр. 5). Эти зарисовки и орнаменты к повести исполнены весьма художественно. В той же библиотеке писатель нашел, кроме вышеупомянутой иконы, рукописную книгу XVI века. Но вот что пишет в своей статье Андреев: «Русские в Прибалтике ценили Зурова... за то, что в своей проникновенной «Отчине» он привлек внимание к Псково-Печерскому монастырю и ... к краю почти сплошь русскому... к этой мужской обители, в которой сохранился нетронутым весь архитектурный ансамбль монастырского укрепления XVI века, непоколебимый монастырский быт и... полнота религиозных настроений в веками намоленных стенах». В другой статье Н. Андреев защищает прозу Зурова от обвинений в «ученичестве» у Бунина (см. «Г р а н и» № 33, стр. 173-174).

Лично я — не поклонница зуровской прозы других его сборников. Прочла «Отчину», лишь когда она вышла в Париже вторым изданием (YMCA-PRESS, 1970 г.) Но, забыв о личных вкусах и взглядах, я не могла не откликнуться на беззаветную любовь поэта к России, не могла не почувствовать красоты этой повести. Если писатель с такой силой смог убедить в своей правоте читателя, не склонного его принять, это, несомненно, означает, что силой своего таланта, искренностью чувства, писателю удается ломать преграды между собой и чуждым ему миром.

Привожу два отрывка из повести. В 1581 г. поляки осаждают Псков. Враги уже начали проникать в город и теснить русских. Но предоставляю слово автору.

«Собор не вмещал всех. Толпа занимала торговище. Под сводами храма игумен Тихон и весь собор, стоя на коленях, пели молебны. Как одна грудь, плакал народ. Прерывались слова молитв. Женщины бились на полу, каялись в грехах и протягивали ко Владычице руки и детей... Каждая мать думала, что навсегда потеряла сына» (стр. 84).

Но вот прибегает от воеводы вестник с приказанием выносить на площадь иконы.

«От собора, неся золотые пласты икон, бежала с пением и слезами женская толпа. Вопли, мешаясь с молитвами, летели к чудотворной иконе Успения. Она, залитая царским золотом, цепями, привесами и жемчужными уборами, что сняли с себя псковитянки, тяжело колыхалась над головами. Народ придвинулся. Приглушенная тяжелыми рыданиями молитва воскресла на проломе.

Царице моя Преблагая,
Надеждо моя Богородице —

Заработали топоры. С края придвинулись окованные железом мужицкие палицы. Словно почувствовав на лицах прохладный ветер, псковичи вырвались на гребень. Крестьясь меж ударами, они начали сбивать венгров с пролома...

Под башней зажгли хворост. Дым повалил из пробитых дыр. Затрещали, загораясь, бревна. Шатаясь от жара, начали сбегать вниз рыцари.

Еще шла сеча, но псковитянки бросились выносить раненых» (стр. 85-86).

А вот другой отрывок — об осаде Печер.

«...В жестокие холода монахи и стрельцы бились у Никольской церкви в одних кафтанах и беспрестанно звонили во все свои колокола.

Фаренсбек был ранен. Он раньше служил в войсках царя Ивана и знал, что русские так же хорошо выдерживают голод, как и свои посты. Он был зол, что, несмотря на вызванные венгерские войска, новые пушки и разнесенный кнехтами на костры деревянный острог, обитель не пала...

Испытанные в боях солдаты, возвращаясь, уверяли, что от Печер нужно уйти, что это такое же святое место, как и Ченстоховская обитель. И клялись, что во время штурма они видели на проломе седого старика» (стр. 92).

Разве эти страницы не напоминают о других нашествиях иноплеменных на русскую землю?..

Читая эпиграф к «Отчине», — «Из крестов скована Русская земля, И через кресты восходит солнце», чудится далекий голос баяна «Слова о полку Игореве» (стр. 7).

БИБЛИОГРАФИЯ

Р. С. После смерти Зурова я получила письмо, написанное им перед смертью. Он просит меня вычеркнуть в книге первое слово, с которого начинается краткое предисловие к повести, а именно — «*очерки*». Несомненно, это опечатка, так как не вяжется с остальной фразой.

О. Можайская

РЕЛИГИЯ И АТЕИЗМ В СССР

Книга Н. А. Теодорович, долголетней сотрудницы Института изучения СССР в Мюнхене и автора интересных статей о церкви в СССР, представляет большой интерес ввиду компетентности автора, специалистки по изучению положения религии в СССР и взаимоотношений между советским правительством, патриархией, Ватиканом, Мировым Советом Церквей, международными церковными организациями и религиозными общинами.

Глава первая, посвященная ленинскому юбилею, не содержит ничего нового. В последующем тексте интересен разбор декрета 1918 г. об отделении церкви от государства (стр. 25-34), а также разбор советского толкования религиозной свободы. Много данных почерпнет читатель в четвертой главе об атеистической пропаганде. Здесь, правда, есть некоторый пробел: отсутствует упоминание о первом антирелигиозном выступлении Ленина в 1902 г. с кощунственным утверждением, что раз всякая религия — труп, то молитва к Богу есть акт некрофилии, т. е. совокупление живого верующего человека с трупом (см. «Новую жизнь», издававшуюся Горьким совместно с поэтом Минским (Виленкиным)).

Второе упущение: среди перечисленных антирелигиозных аргументов большевистской пропаганды не назван один, а именно медико-санитарный; еще в двадцатых годах пропагандисты

Nadeshda Theodorowitsch. Religion und Atheismus in der UdSSR. Dokumente und Berichte. Claudius Verlag, München 1970.

старались доказать, что при крестинах младенцы простужаются, что при прикладывании к иконам или при христосовании, а тем более во время причащения, для верующих существует якобы опасность заразы венерическими болезнями. Этот аргумент особенно возмущал своей бессмысленностью: почему венерические заболевания не передаются при обычных поцелуях, а только при христосовании на Пасху?

Что касается остального, то в книге интересно изложены данные о религиозных верованиях в разных областях СССР, собранные в результате научных обследований советских социологов (стр. 110–116). Прекрасно разоблачены приемы обмана всяких иностранных делегаций, посещающих СССР; убедительно показано на многих примерах, как восточным патриархам или западным прелатам показывают лишь то, что диктует советская пропаганда; их не ведут в древний храм, обращенный в товарный склад или в комсомольский клуб, на стенах которого всё еще остаются изображения написанных древними иконописцами святых ликов.

Теодорович верно указывает, что переполнение храмов молящимися объясняется малочисленностью церквей; накануне революции в Москве на миллион жителей приходилось «сорок сороков», то есть 1 600 храмов, хотя в действительности их было больше: каждый приют, учебное заведение, больница, государственное учреждение имели свою домовую церковь. Теперь же на шесть миллионов населения имеется всего тридцать церквей, которые посещает тысяч двадцать человек, да к тому же в большие праздники. Так же верен аргумент автора относительно монастырей: если исключить приобретенные после ежовщины Прибалтику, Западную Белоруссию, Западную Украину и особенно Бессарабию, то число уцелевших монастырей можно перечислить по пальцам. К началу же революции, по данным Св. Синода, в России было 51 413 церквей, при них 48 000 священников и 59 000 дьяконов и псаломщиков, 522 мужских монастыря с 9 500 монахов и 8 000 послушников и 400 женских монастырей с 13 000 монахинь и 40 000 послушниц.

Весьма интересен в книге анализ религиозных гонений в последние годы в Минской и Кировской (б. Вятской) епархиях

БИБЛИОГРАФИЯ

(стр. 126-134). Ценные данные находим мы в главах о Троице-Сергиевой лавре, о ликвидации путем полицейского нажима униатских церквей в Галиции и Прикарпатской Руси, о жизни епархий.

В следующих главах содержатся данные об антирелигиозных преследованиях и о борьбе против антирелигиозной пропаганды со стороны верующих, которые хорошо известны по материалам «Самиздата». К сожалению, Теодорович не использовала обильный материал, вероятно, неизвестного ей издаваемого в Нью-Йорке «Владимирского календаря», труды архиепископа Никона Вашингтонского и Флоридского и проф. И. М. Андреева.

Советская печать, в том числе «Журнал Московской Патриархии», совершенно замалчивает распространение потаенной Церкви, членов которой часто называют «тихоновцами», а саму Церковь — «истинно-православной». Сейчас она сильна своим подпольным духовенством; пока ею руководили враждебные митрополиту Сергию (после его пресловутой декларации 1927 г. о сотрудничестве с «богопосланной» советской властью) еще дореволюционные иерархи, как митрополит Иосиф Ленинградский (в тридцатых годах в Ленинграде его последователи назывались на языке ГПУ-НКВД «иосифлянами»), Дмитрий Гдовский, Серафим Углический и другие, бороться против непокорных Сергию архипастырей было просто: сначала их держали в Соловках и других концлагерях, затем большинство из них было расстреляно в период ежовщины (как, например, митрополит Петр Крутицкий, Агафангел Ярославский или Арсений Новгородский). Но уже в тридцатых годах сначала начинаются тайные постриги, затем рукоположения и наконец епископские хиротонии.

С этого времени становится необычайно трудно проследить за тайной Церковью и судить о ее деяниях. О ее распространении, вплоть до начала Второй мировой войны, могут свидетельствовать ее видные деятели в советском подполье, оказавшиеся после войны за рубежом: проф. Джорданвилльской семинарии И. М. Андреев, знавший ее тайную сеть в Ленинграде и окрестных областях, и нынешний архиепископ Леонтий (Филипп

пович) Аргентинский и Чилийско-Перуанский, представитель свободной части Русской Церкви в Буэнос-Айресе.

Первый из них свидетельствует о том, как в разгар ежовщины собирались «иосифляне» в лесах на отдаленных дачах, куда их привозили верные потаенные монахини на вечерних поездах из Ленинграда и из тех городов, где они проживали по отбытии концлагеря*. Проф. Андреев пишет: «Я лично посещал катакомбную Церковь с 1937 по 1941 г. включительно. Позже я встречался с людьми, которые посещали ее с 1942 по 1945 г. Духовное настроение всё время оставалось в этой церкви высоким и чистым».

Второй из них скитался по Украине, был на нелегальном положении с 1935 по 1941 год, пока не оказался в Житомире в момент вступления германских войск в августе 1941 г. 14 ноября 1941 г. он стал епископом Житомирским и Подольским и благодаря своим связям с потаенными церквями (или вернее общинами) в разных городах и селах Украины смог в период оккупации открыть 400 приходов.

О потаенной Церкви в последние годы мало данных, но советская печать время от времени сообщает о тайных общинах и даже как-то сообщила о двух женских монастырях: одном — в глухом поселке Узбекистана, другом — в Казахстане, и о мужской обители в Горьковской области. В одной из женских обителей, наряду с отпечатанными на ротаторе Евангелиями и молитвословами, была найдена апологетическая брошюра, содержащая ответы на аргументы советских антирелигиозных учебников и составленная потаенным епископом, который остался нераскрытым.

В заключение следует указать, что последние данные о потаенной Церкви в разных областях европейской части СССР были получены в ноябре 1970 г.

Труд Н. А. Теодорович ценен особенно тем, что, написанный

* См. его статью: **И. А.** Воспоминания о катакомбной церкви в СССР. «Владимирский Русский Календарь на 1968 г.». Изд. Общества Св. Князя Владимира, Нью-Йорк. 1967 г., стр. 111-120. — Ф. Д.

по-немецки, посвящает европейских читателей в сложные перипетии нашей многострадальной Церкви, знакомит с методами антирелигиозной пропаганды и реакцией на нее со стороны верующих разных возрастов и общественного положения, дает верную оценку извилистой политике Московской патриархии, знакомит с реакцией на нее архиепископа Гермогена (Голубева), Талантова, Левитина-Краснова, Эшлимана и других верующих, протестующих против сотрудничества Патриархии с безбожниками, освещает отношение Патриархии к вопросам международной политики.

Будем надеяться, что во втором издании, если оно последует, автор ознакомит читателей с вышеуказанными мною не использованными источниками о мало известной и чекистам, и Западу деятельности потаенной православной Церкви, которая в безмолвии и молитве несет свой тяжкий крест.

Федор Данилов

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ХРУЩЕВСКИЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ И СМЕРТЬ ОРДЖОНИКИДЗЕ

В недавно вышедшей книге А. Бека «Новое назначение» главная фигура романа — Онисимов, который по ряду черт имеет сходство с одним из близких сотрудников Орджоникидзе — Тевосяном. После смерти Орджоникидзе Тевосян быстро пошел в гору, но после XX съезда КПСС попал в почетную ссылку послом в Японию.

У А. Бека — Онисимов получает назначение послом в «Тишляндию». В связи с разоблачениями Хрущева на закрытом заседании XX съезда в 1956 г. он предается воспоминаниям, которые А. Бек реконструирует следующим образом:

«...Так Онисимов, не одетый, босой, и сидит среди ночи на жестком диване.

...Онисимов поднимает голову, смотрит на висящий в про-

стенке большой, скромно окантованный снимок, единственный в его кабинете. Губы под жёсткими усами Сталина спокойно сомкнуты, а Серго улыбается, он счастлив, полон жизни... Онисимов и не подозревал, что Серго пустил себе пулю в сердце. Это была одна из самых тщательно скрываемых тайн, пока на двадцатом съезде...

Онисимов тогда сидел во втором ряду среди других делегатов съезда, — непроницаемый, невозмутимый, каким его привыкли видеть. Необычайная впечатлительность сочеталась в нем с необычайной сокрытостью душевных ран броней.

Однако в ту минуту, когда он услышал, что Серго сам с собой покончил, вдруг будто кто-то защекотал веки Онисимова. Он ощутил: по щекам поползли слезы»¹.

Здесь автором принимается версия смерти Г. К. Орджоникидзе (Серго), выдвинутая на съезде в докладе Хрущева, как бесспорная, не подлежащая сомнению. Однако, если обратиться к самому тексту этого доклада, опубликованному на Западе, то в нем есть моменты, дающие повод сомневаться в абсолютной достоверности всех разоблачений и, в частности, в обстоятельствах смерти Орджоникидзе.

«Военная коллегия нашла, что старый большевик, товарищ Кедров, был невиновен. Но несмотря на это, он был расстрелян по приказу Берия. *(Возмущение в зале.)*

Берия также жестоко расправился с семьей Орджоникидзе. Почему? Потому что Орджоникидзе пытался помешать Берия осуществить его гнусные планы. Берия убирал со своего пути всех, кто мог бы ему помешать. Орджоникидзе всегда был противником Берия и говорил об этом Сталину. Но вместо того, чтобы разобраться в этом вопросе и принять соответствующие меры, Сталин допустил ликвидацию брата Орджоникидзе и довёл самого Орджоникидзе до такого состояния, что он был вынужден застрелиться. *(Возмущение в зале.)* Таков был Берия.

Вскоре после смерти Сталина Центральный Комитет разоблачил Берия. Было проведено особо тщательное судебное расследование его деятельности, которое показало, что Берия совершал чудовищные преступления, и Берия был расстрелян»².

БИБЛИОГРАФИЯ

В этом отрывке выступления Хрущева сразу бросается в глаза, что смерть Орджоникидзе упоминается как вводный эпизод в разделе о преступлениях Берия. Но Берия во время смерти Орджоникидзе, 18 февраля 1937 г., находился еще в Грузии и непосредственного влияния в Москве иметь не мог³. В этот период, после свержения Ягоды, возглавителем «*органов*» был Н. Ежов, назначенный на пост наркома внутренних дел в сентябре 1936 г. и возглавлявший НКВД до декабря 1938 г. После этого он вскоре со своими столь «любимыми народом» «ежовыми рукавицами» бесследно исчез в подвалах Лубянки или же подобных ей местах*. На его пост в конце 1938 г. был назначен Берия⁴. Маловероятно, чтобы при этих обстоятельствах Берия мог в такой мере повлиять на Сталина, что это могло привести к самоубийству Орджоникидзе. Создается впечатление, что Хрущев либо что-то путает, либо сознательно дает ложную информацию. Поэтому интересно провести сравнение с другими источниками, упоминающими о смерти Орджоникидзе. Начнем с официального сообщения, опубликованного в «Правде» от 19 февраля 1937 г., т. е. на следующий день после его смерти. В этом извещении, составленном от имени ЦК ВКП(б), было сказано:

«Смерть товарища Орджоникидзе, дорогого для всей партии, рабочего класса СССР, трудящихся всего мира, безусловно чистого и стойкого партийца, большевика, отдавшего свою славную, героическую жизнь делу рабочего класса, делу коммунизма, является тягчайшей потерей для всей партии и Советского Союза»⁵.

Не останавливаясь на дальнейших такого же рода восхвалениях, отметим, что официальная причина смерти была указана — паралич сердца⁶.

Из более поздних источников, уже после XX съезда, отметим воспоминания члена-корреспондента АН СССР В. Емельянова, который упоминает только о потрясении, вызванном

* Н. Ежов был расстрелян в марте 1939 г. — Der Grosse Knaur Lexikon in 4 Bänden, 1966, B. 2, S. 560. — Ред.

сообщением о смерти Орджоникидзе, дипломатично не вдаваясь в подробности о причинах, ни тогда опубликованных, ни позднее раскрытых на XX съезде⁷.

Упоминает о смерти Орджоникидзе также и С. Аллилуева в своей первой вышедшей на Западе книге «Двадцать писем к другу»:

«...С выдвижением Берия наверх, очевидно, положение самого Серго стало очень трудным — на него клеветали, желая разъединить его с отцом (Сталиным — С. К.). Он не выдержал и застрелился в феврале 1936 года... Его смерть долго объясняли 'вредительством врачей'. Вскоре умер Горький — и те же врачи, что лечили обоих (у Орджоникидзе были больные почки) — Плетнев, Левин — были посажены в тюрьму...»⁸.

В этих воспоминаниях С. Аллилуева полностью идет в указанном Хрущевым направлении, приписывая всё злостному влиянию Берия (ошибочно указывая при этом год смерти 1936, вместо фактического 1937 года). Но в то же время она даёт еще один вариант причины смерти Орджоникидзе, совершенно отличный и от официального объявления и от разоблачений Хрущева, — *вредительство врачей*. Очевидно, разговоры на эту тему шли в том окружении, в котором находилась тогда С. Аллилуева, т. е. в среде высшей партийной клики — приближенных Сталина. Чем могли быть вызваны эти разговоры? Желанием отвлечь внимание от возможных слухов о самоубийстве Орджоникидзе, как это изобразил Хрущев, или в них скрывается какая-то связь с истинной причиной, конечно, не в плане вредительства врачей, а в ином, о чем ниже.

Попробуем восстановить ту обстановку, в которой находился Орджоникидзе непосредственно перед его таинственной и, во всяком случае, внезапной смертью.

В сентябре 1936 года Ягоду сменил бывший до этого секретарем ЦК Ежов, что расценивалось тогда как более прямое вхождение Сталина в дела НКВД и расширение террора, несколько затихшего после первого пика в начале тридцатых годов. В промышленности начало ежовской эры ознаменовалось процессом «О вредительстве в Кузнецком бассейне», проведен-

ном в самом конце 1936 г. В этот же период начались аресты среди руководителей промышленности. Кроме первого заместителя Орджоникидзе по Наркомтяжпрому — Пятакова, был арестован ряд директоров крупных предприятий, в частности, и некоторые из любимцев Орджоникидзе, как, например, директор Макеевского металлургического завода в Донбассе — Гвахария, до этого служивший образцом передового директора и, по слухам, бывший также родственником Орджоникидзе. Одновременно началось разукрупнение Наркомтяжпрома (в частности, была выделена авиационная промышленность и намечалось выделить — оборонную). Всё это могло восприниматься самим Орджоникидзе как наступление и на него лично и на его положение в партии и госаппарате.

Дальнейшее развитие в этом направлении, подобно процессу «О вредительстве в Кузбассе», действительно ударяло по Орджоникидзе, так как ставило под угрозу выполнение всех планов действовавшей тогда пятилетки. Это вполне могло послужить поводом для выступления Орджоникидзе против той партийной линии, которая возглавлялась к тому же самим Сталиным. Подходящим форумом для открытого выступления мог бы быть февральско-мартовский пленум ЦК 1937 г. Если учесть общеизвестные популярность и авторитет Орджоникидзе в партийных кругах, его выступление на пленуме могло иметь успех. Поэтому устранение Орджоникидзе должно было бы произойти в преддверии пленума и, по возможности, быстро. Причина могла лежать в конфликте Сталин — Орджоникидзе, и Берия в данном случае не при чем. Ликвидация брата Орджоникидзе, если Берия ее и произвел, была уже последствием расправы с самим Серго — устранение родственников уничтожаемых «врагов народа» было делом обычным для того времени. Следует отметить, что на состоявшемся пленуме против линии Сталина всё-таки было выступление — Постышева, который вскоре после этого был ликвидирован⁹.

Тут мы еще раз считаем уместным обратить внимание на путаницу, вносимую Хрущевым. При всех его выпадах против Сталина, в его докладе намечается тенденция, впоследствии всё усиливавшаяся, — возложить на Берия максимум ответствен-

ности и тем самым хотя бы частично разгрузить от обвинений в содеянных преступлениях высшее возглавление ВКП(б) — КПСС.

По моему личному впечатлению, Орджоникидзе был одним из наиболее человеческих в партийной верхушке, например, по сравнению с тем же Кагановичем, Молотовым и им подобными. До его назначения в 1930 году председателем ВСНХ (преобразование в Наркомтяж произошло в 1932 г.) Орджоникидзе возглавлял одновременно Центральную контрольную комиссию по партийной линии и наркомат Рабоче-крестьянской инспекции по линии государственной и являлся тем самым прямым сотрудником и помощником «органов», выполняя для них предварительную работу по чистке партии и по подготовке дел о вредительстве в народном хозяйстве. Его работа в этот период отмечена следующим образом:

«...3 ноября 1926 Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) избрал его (Орджоникидзе — С. К.) председателем Центральной контрольной комиссии. Одновременно он был назначен наркомом РКИ и заместителем председателя Совнаркома СССР. На посту руководителя ЦКК — РКИ Г. К. Орджоникидзе ведет борьбу против троцкистов, зиновьевцев, правых реставраторов капитализма, буржуазных националистов всех мастей, оберегая, как зеницу ока, монолитность рядов Коммунистической партии. В этот период органы ЦКК — РКИ провели большую работу по укреплению советского государственного аппарата, по искоренению бюрократизма в его работе»¹⁰.

Что означает эта аттестация, — вполне понятно. И тем не менее, будучи уже наркомтяжем, он в годы процесса Промпартии и позже извлек для работы в промышленности многих осужденных «вредителей» и тем спас им жизнь. Это, конечно, способствовало созданию ему определенного авторитета и в кругах непартийных. В партии же он был, пожалуй, одной из самых крупных фигур того периода, стоящей сразу после Сталина. Напомним, что Зиновьев и Каменев были тогда уже расстреляны (осенью 1936 года), Рыков и Бухарин — полностью ошельмованы и ждали своего процесса, а Молотов и Каганович

БИБЛИОГРАФИЯ

особым престижем, а главное, — популярностью не пользовались.

Автор настоящих строк работал в то время как инженер на одном из крупнейших строительства СССР, которое по своим масштабам и значению было включено в сектор предприятий, непосредственно подчиненных наркомату тяжелой промышленности. Поэтому начальник строительства имел прямую связь с наркомом — Серго Орджоникидзе, минуя промежуточные инстанции. Это, естественно, способствовало тому, что ситуация вокруг Орджоникидзе была несколько более знакома персоналу этого строительства, чем на большинстве обычных предприятий. Так как строительство находилось тогда в первоначальной стадии, то пресловутая «вертушка» (упоминаемая также А. Беком, т. е. прямая связь с наркомом по телефону-автомату) еще не функционировала, и все разговоры велись через государственную линию с регистрацией их в дежурной книге телефонной станции строительства.

Последний разговор между начальником строительства и Орджоникидзе был зарегистрирован поздно вечером, почти ночью, а в первой утренней радиопередаче уже было сообщение о смерти Орджоникидзе. Интервал — всего в несколько часов, в течение которых всё произошло и было даже сформулировано сообщение для передачи по радио. Но вслед за этим сообщением возникли разговоры, дополнявшие его, в каком-то смысле аналогичные разговорам, о которых упоминает С. Аллилуева. Но если она пишет о *вредительстве врачей*, то в инженерно-технических кругах разговор шел о медицинском вмешательстве другого рода — вмешательстве, связанном не с болезнью почек, как говорит С. Аллилуева, а с сердечной деятельностью.

Уже давно было известно, что у Орджоникидзе сердце не в порядке. В случаях перенапряжения в работе и волнений у него бывали приступы, при которых он получал соответствующие инъекции. После сообщения о смерти по строительству поползли слухи, которые приходилось слышать и среди работников других предприятий, о том, что в эти ночные часы у Орджоникидзе был визит — либо самого Сталина, либо какого-то его специального уполномоченного. В результате этого визита или

во время него у Орджоникидзе случился припадок, после которого он получил инъекцию, решившую всю проблему.

Эпизод личной ссоры между Сталиным и Орджоникидзе описан также А. Беком, герой книги которого Онисимов оказался невольным свидетелем этой бурной сцены¹¹. Правда, неизвестно, является ли этот эпизод воспроизведением факта, ставшего известным А. Беку, или лишь художественной реконструкцией возможного на основании анализа обстановки того времени.

Предшественник Ежова — Ягода, уже тогда впавший в немилость, но еще не расстрелянный, был по профессии фармацевтом и, по слухам, коллекционировал сильные тайно действующие яды. Коллекция эта хранилась в его рабочем кабинете. По тем же слухам, при изгнании Ягоды она перешла к новому хозяину — Ежову. Так вот и шла молва о том, что во время припадка для «улучшения» сердечной деятельности Орджоникидзе и был использован один из препаратов этой коллекции.

Мы не можем полностью ручаться за достоверность приведенного объяснения скоропостижной смерти Орджоникидзе, но неувязки в чрезвычайно, до странности, кратком истолковании его смерти Хрущевым, слухи, о которых пишет С. Аллилуева, и внезапность смерти, известная нам непосредственно, придают определенную вероятность этому варианту. То же, что Хрущев предпочел обойти его молчанием и говорить о варианте самоубийства Орджоникидзе, — вполне понятно. Надо только вспомнить общенародное традиционное отношение к *отравителям*! Такое клеймо, при всей личной ненависти к Сталину, Хрущев всё же не посмел на него поставить из боязни, что оно прилипнет и ко всему партийному руководству, в том числе и к нему самому.

Остается еще вопрос: почему в отношении Орджоникидзе было допущено исключение и он не был, подобно Зиновьеву, Каменеву, Рыкову, Бухарину и другим, ошельмован как предатель, изменник, «враг народа», а затем, по суду или без него, ликвидирован: Или: почему его смерть, подобно смерти Гамарника, Скрыпника, Томского, не была объяснена самоубийством как следствием того, что он «запутался в связях» с «врагами

народа», троцкистами, «иностранными разведками», «буржуазными националистами» и т. п., т. е. трафаретным обвинением из арсенала тридцатых годов. Объяснение этому, думается, следует видеть в том, что Сталин для сохранения хоть какого-то престижа партии и укрепления собственного авторитета нуждался не только в «разоблаченных» расстрелянных «врагах народа», «изменниках партии», но и в «безупречно чистых партийцах», однако, чтобы избавиться от конкурентов на пост «любимого вождя и учителя», предпочитал видеть их мертвыми. Орджоникидзе, учитывая его положение в партии, популярность и личные качества, был особенно подходящим кандидатом для такой трагической участи. А раз так, то ликвидация и посмертное восхваление Орджоникидзе становятся вполне закономерными и понятными.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. А. Бек. Новое назначение. Стр. стр. 39 и 41. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1971.

2. «Доклад на Закрытом заседании XX съезда КПСС» Н. С. Хрущева. «Госполитиздат» (камуфляж), стр. 48, глава — Берия.

3. БСЭ, второе издание 1950 г., том 5, стр. 23 (впоследствии статья о Берия была заменена расширенной статьей о Беринге).

4. Н. Рутыч. КПСС у власти. Изд-во «Посев», 1960, стр. 350.

5. Цитируется по БСЭ, 1955 г., том 31, стр. 173.

6. Там же.

7. В. Емельянов. О времени, о товарищах, о себе. «Новый мир» № 1, стр. 78. 1967.

8. С. Аллилуева. Двадцать писем к другу. Стр. 133. Изд-во Harper and Row, Нью-Йорк, 1967 г.

9. Н. Рутыч. КПСС у власти. Стр. 354.

10. БСЭ, том 31, стр. 173.

11. А. Бек. Новое назначение. Стр. 44.

С. Кирсанов

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ

Арсеньев, Николай. О Достоевском. Четыре очерка. Издательство «Жизнь с Богом», Bruxelles, 1972. Стр. 64.

Булгаков, Михаил. Мастер и Маргарита. Роман (в полном, несокращенном виде). Карманный формат. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1972. Стр. 500.

Бухарин, Н. И. Путь к социализму в России. Избранные произведения. Редакция и вступительная статья Сидни Хейтмена. Русский перевод статьи Евгении Жиглевич. ОМИК-РОН БУКС. Нью-Йорк, 1967. Стр. 416.

Вольное слово. Самиздат. Избранное. Документальная серия. Выпуск 2. Хроника текущих событий, выпуск 22. В. Чалидзе. «Ко мне пришел иностранец»; «Духовное прозрение» Льва Краснопевцева. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1972. Стр. 128.

Гладилин, А. Прогноз на завтра. Роман. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1972. Стр. 188.

Ильинъ, В. И. Преподобный Серафимъ Саровский. Третье издание. Книгоиздательство «Путь жизни», Нью-Йорк, 1971. Стр. 206.

Иоанн. С. Ф., Архиепископ. (Шаховской). Московский разговор о бессмертии. Изд-во Ихфис, Нью-Йорк, 1972. Стр. 250.

Мандрыка, З. Л. Песни души. Сборник стихов. Издание автора. Франкфурт-на-Майне, 1972. Стр. 95.

Чуковская, Лидия. Спуск под воду. Издательство имени Чехова. Нью-Йорк, 1972. Стр. 131.

Якир, Петр. Детство в тюрьме. Мемуары. Macmillan London LTD, 1972. Pp. 152.

Редактирует Редакционная Коллегия

Главный редактор Н. Б. Тарасова

Ответственный секретарь Г. Т. Напиваненко

Адрес редакции журнала «Грани»:

**Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M., Sossenheim,
Flurscheideweg 15**

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

И

ВОЛЬНОЕ СЛОВО

САМИЗДАТ. ИЗБРАННОЕ. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ СЕРИЯ

УСЛОВИЯ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

«Посев» и 6 брошюр «Вольного слова»: в Европе — 60 н. м.,
в США и Канаде — с дост. «Посева» по воздуху — 30 ам. дол.;
с дост. обоих изданий по воздуху — 33 ам. дол.

«Посев»: в Европе — 40 н. м., в США и Канаде — 21 ам. дол.

УСЛОВИЯ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ МАГАЗИНЫ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

«Посев» и 6 брошюр «Вольного слова»: в Европе — 72 н. м.,
в США и Канаде — с дост. «Посева» по воздуху — 34 ам. дол.;
с дост. обоих изданий по воздуху — 37 ам. дол.

«Посев»: в Европе — 48 н. м., в США и Канаде —
24 ам. дол.; в Австралии — 18.30 ав. дол. (воздухом).

Стоимость подписки в неевропейских странах, кроме
США, Канады и Австралии, простой почтой — та же,
что и в Европе; авиапочтой — с доплатой за пересылку.

Стоимость в розничной продаже: 4 н. м. — или эквива-
лент 4. н. м. — для Европы и неевропейских стран; для
Израиля — 3. 50 изр. фунта; для США и Канады —
1.75 дол.; для Австралии — 1.60 ав. дол.

VERLAG — POSSEV — REDAKTION

D - 6230 Frankfurt/M. 80, Flurscheideweg 15

Telefon: 34 12 65. Postscheckkonto 33461 Frankfurt/M.

Bank: Nassauische Sparkasse 161 001 163 Frankfurt/M.

Telegramme: Posseverlag Frankfurtmain

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку)

**в Германии и во всех других странах,
кроме США и Канады:**

При подписке непосредственно из издательства — 30,— н. м.

**При подписке через представителей
и книжные магазины — 36,— н. м.**

**Цена в розничной продаже — 9,— н. м.
(или эквивалент 9,— н. м.).**

В США и Канаде:

**При подписке непосредственно из издательства
— 10,— ам. дол. При подписке через представителей
и книжные магазины — 12,— ам. дол.**

Цена в розничной продаже — 3,— ам. дол.

**Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу**

POSSEV-VERLAG

D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

**или же банковским переводом на
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/M.**

**Из Германии удобнее переводить деньги на
Konto 334 61, Postscheckamt Frankfurt/Main.**